

INSPIRIA

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

«Я влюбилась в эту книгу. Думаю, каждой женщине
и девушке стоит ее прочесть».

ДЖИЛЛИАН АНДЕРСОН

МЕГ МЭЙСОН

18+

В переводе
Ксении Новиковой

Inspira. Переведено

Мег Мэйсон

И в горе, и в радости

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.111-31(94)

ББК 84(8Авс)-44

Мэйсон М.

И в горе, и в радости / М. Мэйсон — «Эксмо», 2020 — (Inspiria. Переведено)

ISBN 978-5-04-183751-8

Международный бестселлер, роман, вошедший в короткий список Women's Prize for Fiction. «Как "Под стеклянным куполом", но только очень-очень смешно. Чертовски печально, но и чертовски остроумно». — Книжный клуб Грэма Нортон «Я влюбилась в эту книгу. Думаю, каждой женщине и девушке стоит ее прочесть». — Джиллиан Андерсон Все говорят Марте, что она умная и красивая, что она прекрасная писательница, горячо любимая мужем, которого, по словам ее матери, надо еще поискать. Так почему на пороге своего сорокалетия она такая одинокая, почти безработная и постоянно несчастная? Почему ей может потребоваться целый день, чтобы встать с постели, и почему она постоянно отталкивает окружающих своими едкими, небрежными замечаниями? Когда муж, любивший ее с четырнадцати лет, в конце концов не выдерживает и уходит, а сестра заявляет, что она устала мириться с ее тараканами, Марте не остается ничего иного, как вернуться в дом к своим родителям, но можно ли, разрушив все до основания, собрать из обломков новую жизнь и полюбить знакомого человека заново?

«Это история психического расстройства, рассказанная через призму совершенно уморительной, добросердечной семейной комедии. При этом она невероятно тонкая и абсолютно блистательная. В лучших традициях Джулиана Барнса». — The Irish Independent «Дебют Мег Мэйсон — нечто по-настоящему выдающееся. Это оглушительно смешной, прекрасно написанный и глубоко эмоциональный роман о любви, семье и превратностях судьбы, до последней страницы наполненный тем, что можно описать как "мудрость, закаленная в огне"». — The Times

УДК 821.111-31(94)

ББК 84(8Авс)-44

ISBN 978-5-04-183751-8

© Мэйсон М., 2020

© Эксмо, 2020

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

45

Мэйсон Мег

И в горе, и в радости

Meg Mason

Sorrow and bliss

Copyright © The Printed Page Pty Ltd 2020

Дизайн обложки © Amy Daoud, HarperCollins Design S Фотография на обложке © Ulas & Merve / Stocksy United / Legion Media.

© Новикова К., перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023

Моим родителям и мужу

На свадьбе, что состоялась вскоре после нашей собственной, я двинулась за Патриком сквозь плотную толпу к одиноко стоявшей женщине.

Он сказал, что, вместо того чтобы посматривать на нее каждые пять минут и грустить, мне нужно просто подойти и похвалить ее шляпку.

– Даже если шляпка мне не нравится?

– Ясное дело, Марта, – сказал он, – тебе вообще ничего не нравится. Давай.

Женщина взяла у официанта канapé и как раз засовывала его в рот, когда заметила нас, одновременно понимая, что не справится с ним за один укус. Пока мы приближались, она опустила подбородок и постаралась скрыть свои усилия пустым бокалом и пачкой коктейльных салфеток в другой руке. Но, хоть Патрик и затянул свое приветствие, никто из нас не смог разобрать ее ответ. Она ужасно смутилась, так что я заговорила сама: словно кто-то дал мне задание произнести минутную речь на тему женских шляпок.

Женщина отвечала серией коротких кивков и, как только ей удалось совладать с канapé, спросила, где мы живем и чем занимаемся, и правильно ли она поняла, что мы женаты, и сколько мы уже вместе, и главное – как мы познакомились: количество и скорость заданных вопросов были способом отвлечь внимание от полусъеденного обéдка на промасленной салфетке в ее ладони. Пока я отвечала, она украдкой поглядывала вокруг в поисках места, куда его можно деть, а когда я закончила, сказала, что не совсем поняла мои слова о том, что мы с Патриком не познакомились по-настоящему, что он «просто всегда был где-то рядом».

Я повернулась, чтобы взглянуть на мужа, который в этот момент пытался пальцем выловить что-то невидимое из своего бокала, затем вновь взглянула на женщину и пояснила, что Патрик как диван, что стоит в доме, где ты выросла.

– Его существование – это некая данность. Ты никогда не задаешься вопросом, откуда он взялся, потому что не помнишь времена, когда его тут не было. Даже сейчас, если он до сих пор стоит на своем месте, никто об этом всерьез не задумывается.

– Хотя полагаю, – продолжила я, потому что женщина не шелохнулась и не сказала ни слова, – что, если надавить, ты сразу сможешь перечислить все его недостатки. И их причины.

Патрик сказал, что, к сожалению, это так.

– Марта могла бы представить вам целый реестр моих недостатков.

Женщина рассмеялась, затем мельком взглянула на сумочку, которая свисала с ее предплечья на тонком ремешке, словно оценивая ее потенциал в качестве мусорной корзины.

– Так, кому тут повторить? – Патрик направил на меня два указательных пальца и изобразил, что нажимает большими пальцами на спусковые крючки. – Марта, я знаю, ты не отка-

жешься. – Он указал на бокал женщины, и она отдала его. Затем он сказал: – Хотите, я захвачу еще вот это?

Она улыбнулась и, казалось, была готова расплакаться, оттого что он избавил ее от недоеденного канапе.

Когда он ушел, женщина сказала:

– Вы, наверное, очень счастливы быть замужем за таким мужчиной.

Я сказала «да» и задумалась, как объяснить, в чем недостатки брака с человеком, которого все считают милым, но вместо этого спросила, где она купила такую потрясающую шляпку, и стала ждать возвращения Патрика.

С тех пор диван стал нашей дежурной историей в ответ на вопрос, как мы познакомились. Мы рассказывали ее восемь лет, порой с небольшими вариациями. Люди всегда смеялись.

* * *

Есть такая гифка: «Принц Уильям спрашивает у Кейт, не хочет ли она еще выпить». Мне ее однажды отправила сестра. Она написала: «Я рыдаю!!!» Они находятся на каком-то приеме. Уильям в смокинге. Он машет Кейт, которая стоит в другом конце комнаты, и изображает, как доедает что-то из стакана, затем указывает на нее пальцем.

– Этот его палец, – добавила моя сестра, – реально Патрик.

– Разве что метафорически, – ответила я.

Она прислала эмоджи с закотившимися глазами, бокалом из-под шампанского и указательным пальцем.

В тот день, когда я вернулась к родителям, я снова нашла эту гифку. Я посмотрела ее пять тысяч раз.

* * *

Мою сестру зовут Ингрид. Она на пятнадцать месяцев младше меня и замужем за мужчиной, которого встретила, рухнув у него перед домом, когда он выкатывал на улицу мусорные баки. Она беременна четвертым ребенком: когда она написала, что это опять будет мальчик, то прислала эмоджи с баклажаном, вишенками и ножницами. Она добавила: «Хэмишу не-метафорически надо кое-что отрезать».

Когда мы росли, все думали, что мы близнецы. Мы отчаянно хотели одеваться одинаково, но мать не разрешала. Ингрид однажды спросила:

– Ну почему?

– Потому что все подумают, что это я так захотела, – мать осмотрела комнату, в которой мы находились, – а я ничего такого не хотела.

Позднее, когда мы обе вступили в пору пубертата, мать сказала, что Ингрид, очевидно, достался весь бюст, так что остается надеяться, что я получу мозги. Мы спросили, что из этого лучше. Она сказала, что лучше иметь либо и то и другое, либо ничего – одно без другого неизбежно летально.

Мы с сестрой по-прежнему похожи. У нас одинаковые слишком квадратные челюсти, но, по мнению нашей матери, нам это как-то сходит с рук. Наши волосы имеют одинаковую тенденцию путаться, обычно длинные, они были одного и того же блондинистого оттенка, пока мне не исполнилось тридцать девять и как-то утром я не осознала, что приход сорокалетия мне не остановить. В тот же день я отстригла их вровень со слишком квадратной челюстью, а потом вернулась домой и обесцветила средством из супермаркета. Пока я этим занималась, зашла Ингрид и использовала остатки. Мы обе мучительно пытались поддерживать этот цвет. Ингрид сказала, что легче было бы завести еще одного ребенка.

Я с юности знала, что, хотя мы очень похожи, все считали, что Ингрид красивее меня. Однажды я сказала об этом отцу. Он ответил:

– Может, на нее и смотрят в первую очередь. Но на тебя хочется смотреть дольше.

* * *

В машине по пути домой с последней нашей с Патриком вечеринки я сказала:

– Когда ты тычешь в меня пальцем, мне хочется пристрелить тебя из настоящего пистолета.

Мой голос был сухим и неприятным, и он мне не нравился – как и Патрик, когда он ответил: «Отлично, спасибо» – совершенно без эмоций.

– Но не в лицо. Скорее предупредительный выстрел, в колено или еще куда, чтобы ты мог ходить на работу.

Он сказал, что рад это слышать, и ввел наш адрес в Гугл-карты.

Мы жили в одном и том же доме в Оксфорде уже семь лет. Я указала ему на этот факт. Он ничего не ответил, и я взглянула на него: как он сидит на водительском сиденье и спокойно ждет просвета в потоке машин.

– Теперь ты делаешь эту штуку челюстью.

– Знаешь что, Марта. Давай не будем разговаривать, пока не доедем до дома. – Он вытащил телефон из держателя и молча убрал его в бардачок.

Я сказала что-то еще, затем наклонилась вперед и включила печку на максимум. Когда в машине стало удушающе жарко, я выключила обогрев и полностью опустила стекло. Оно было покрыто инеем и, опускаясь, издало скрип.

У нас была собственная шутка, что я во всем мечусь между крайностями, а он всю жизнь живет, придерживаясь середины. Прежде чем выйти из машины, я сказала:

– Тот оранжевый значок до сих пор горит.

Патрик ответил, что планирует долить масло на следующий день, заглушил двигатель и зашел в дом, не дожидаясь меня.

* * *

Мы взяли дом в аренду на случай, если все пойдет не так и я захочу вернуться в Лондон. Патрик предложил Оксфорд, потому что тут он учился в университете и думал, что в небольшом городе недалеко от Лондона мне будет легче завести друзей, чем в других местах. Мы продлевали аренду на шесть месяцев уже четырнадцать раз, словно в любой момент все еще могло пойти не так. Агент по недвижимости говорил нам, что это Дом Представительского Класса в Квартале Представительского Класса и поэтому он идеально нам подходит, хотя ничего представительского ни в одном из нас нет. Один работает врачом-консультантом отделения интенсивной терапии. Другая пишет смешную колонку о еде для журнала «Уэйтроуз» и гуглит «стоимость суточного пребывания в психиатрической клинике», пока муж на работе.

Представительский класс дома находил внешнее выражение в необъятности ковра цвета тауп и многообразии нестандартных розеток, а внутреннее – в постоянном чувстве беспокойства, что он нагонял на меня, когда я оказывалась там одна. Кладовка на верхнем этаже была единственным местом, в котором у меня не возникало ощущения, что за спиной кто-то стоит: комната была маленькой, а за окном рос платан. Летом он загораживал вид на неотличимые от нашего Дома Представительского Класса по другую сторону тупика. Осенью опадающие листья залетали в дом и скрашивали ковер. В этой камерке я и работала, хотя, как мне частенько напоминали разные незнакомцы в ситуациях социального взаимодействия, писать можно в любом месте.

Редактор моей смешной колонки про еду присылал пометки с комментариями вроде «не поним. отсылку» или «перефразируй пож-та». Он использовал режим рецензирования. Я нажимала «принять-принять-принять». После того как он убирал все шутки, это была просто колонка про еду. Судя по «*ЛинкедИн*», мой редактор родился в 1995 году.

* * *

Вечеринка, с которой мы ехали, была устроена в честь моего сорокового дня рождения. Патрик запланировал ее, потому что я сказала, что мне не до праздника.

Он ответил:

– Нам надо атаковать этот день.

– Да ну.

Однажды в поезде мы слушали какой-то подкаст, поделив наушники. Патрик соорудил из своего джемпера подушку, чтобы я могла положить голову ему на плечо. Это был выпуск передачи «Диски для необитаемого острова»¹ с архиепископом Кентерберийским. Он рассказывал, что много лет назад потерял в аварии своего первого ребенка.

Ведущая спросила, как он с этим справляется. Он ответил, что усвоил: когда наступает годовщина смерти, Рождество и ее день рождения, нужно атаковать этот день, «чтобы он не атаковал тебя».

Патрик жадно ухватился за этот принцип. Стал постоянно его повторять. Он произнес его, когда гладил рубашку перед вечеринкой. Я оставалась в кровати, смотрела на ноутбуке «Битву пекарей»: старый эпизод, который я уже видела. Одна участница вытащила чью-то запеченную «Аляску» из холодильника, и та растаяла в форме для запекания. Эта история заняла все первые полосы: диверсантка на кухне «Битвы пекарей».

Когда этот эпизод впервые вышел в эфир, Ингрид написала мне эсэмэску. Она сказала, что готова биться об заклад, что десерт вытащили нарочно. Я сказала, что не определилась со своей позицией. Она прислала мне все эмоджи с тортами и полицейской машиной.

Когда Патрик закончил гладить рубашку, он подошел, сел на кровать почти рядом со мной и стал наблюдать, как я смотрю шоу.

– Нам нужно...

Я ударила по клавише пробела.

– Патрик, мне кажется, это не тот случай, когда надо ссылаться на епископа Как-его-там. Это просто мой день рождения. Никто не умер.

– Я просто стараюсь быть позитивным.

– О'кей. – Я снова ударила по пробелу.

В следующий раз он сообщил мне, что уже без пятнадцати.

– Тебе не пора собираться? Я бы хотел прийти в числе первых. Марта?

Я закрыла ноутбук.

– Можно я пойду в том, что на мне сейчас? – Легинсы, жаккардовый кардиган и не помню что под ним. Я подняла глаза и поняла, что обидела его. – Прости-прости-прости. Я переоденусь.

Патрик арендовал второй этаж бара, в который мы обычно ходили. Я не хотела оказаться там в числе первых, раздумывая, сидеть мне или стоять в ожидании гостей, гадать, придет ли кто-нибудь вообще, чувствовать неловкость за того несчастного, кто придет самым первым. Я знала, что моей матери там не будет, потому что попросила Патрика ее не приглашать.

¹ Радиопередача, в которой разным знаменитостям предлагается выбрать восемь записей, одну книгу и один предмет роскоши, которые они могут взять с собой на необитаемый остров.

Пришли сорок четыре человека, все парами. После тридцати лет числа всегда четные. Стоял ноябрь, и было очень холодно. Все очень долго расставались со своими пальто. Это были в основном друзья Патрика. Я потеряла связь со своими друзьями из школы и университета и со всех работ, на которых оказывалась: один за одним они заводили детей, а я нет, и нам становилось не о чем разговаривать. По пути на вечеринку Патрик сказал, что я могла бы хоть постараться изобразить интерес, если кто-то все же начнет рассказывать про своих детей.

Люди стояли кружком и пили «Негрони» – 2017 год был годом «Негрони», – и очень громко смеялись, и произносили импровизированные речи: по одному человеку из каждой группы, словно представители команды. Я нашла туалет для инвалидов и там расплакалась.

Ингрид сказала, что боязнь дней рождения называется «фрагапанобия». Это был познавательный факт, напечатанный на отклеивающихся полосках бумаги с прокладок, которые, как она говорила, теперь были главным источником ее интеллектуальной стимуляции и единственным чтивом, на которое ей хватало времени. В своей речи она сказала: «Мы все знаем Марту как отличного слушателя, особенно если говорит она сама». У Патрика были какие-то записи на небольших листочках для заметок.

Нельзя определить один конкретный момент, когда я стала вот такой женой, однако если бы пришлось его выбирать, то эпизод, когда я пересекла помещение и попросила мужа не зачитывать, что бы он там ни написал на своих листочках, был бы одним из претендентов.

Любой свидетель моего брака подумал бы, что я даже не старалась стать хорошей женой или женой получше. Или конкретно в тот вечер решил бы, что стать такой было моей целью, к которой я целенаправленно стремилась в течение долгих лет. Они бы не поняли, что большую часть взрослой жизни и весь мой брак я старалась стать собственной противоположностью.

* * *

На следующее утро я сказала Патрику, что извиняюсь за все. Он сделал кофе и унес его в гостиную, но не притронулся к нему, когда я последовала за ним. Он сидел на краю дивана. Я тоже села и поджала под себя ноги. Лицом к нему эта поза казалась умоляющей, поэтому я спустила одну ногу на пол.

– Я не нарочно себя так веду. – Я заставила себя положить ладонь на его руку. Впервые за пять месяцев я намеренно коснулась его. – Патрик, я правда ничего не могу с этим поделать.

– Но при этом тебе как-то удается оставаться милой со своей сестрой. – Он стряхнул мою руку и сказал, что ходит за газетой. Он не возвращался пять часов.

Мне по-прежнему сорок. Сейчас конец зимы, 2018 год, это уже не год «Негрони». Патрик ушел через два дня после той вечеринки.

Мой отец поэт, его зовут Фергюс Рассел. Ему было девятнадцать, когда его первое стихотворение было опубликовано в журнале «Нью-Йоркер». Там шла речь про птицу из вымирающего вида. Когда оно вышло, кто-то назвал его Сильвией Плат мужского пола. Он получил весомый аванс за свою первую грядущую антологию. Моя мать, которая тогда была его девушкой, якобы спросила: «А нам нужна Сильвия Плат мужского пола?». Она это отрицает, но такова семейная легенда. Ее не перепишешь. То стихотворение оказалось последним опубликованным сочинением отца. Он говорит, что мать его прокляла. Она отрицает и это. Антология остается грядущей. Не знаю, что случилось с авансом.

Моя мать – скульптор по имени Силия Барри. Она создает птиц, грозных и огромных, из переосмысленных материалов. Грабли без черенка, моторчики от бытовой техники, вещи из дома. Однажды на одной из ее выставок Патрик сказал: «Я искренне считаю, что не существует физической материи, которую твоя мать не смогла бы переосмыслить». Он не имел в виду

ничего плохого. Очень мало вещей в доме моих родителей функционирует в соответствии со своими первоначальными задачами.

В детстве, когда мы с сестрой слышали, как мать говорила кому-то: «Я скульптор», Ингрид одними губами произносила строчку из песни Элтона Джона². Я начинала смеяться, а она все продолжала, закрыв глаза и прижав кулаки к груди, пока я не была вынуждена выйти из комнаты. Это никогда не переставало меня смешить.

Согласно «Таймс», моя мать – скульптор второго ряда. Когда вышла та заметка, мы с Патриком были дома у моих родителей, помогали моему отцу переставить мебель в кабинете. Она прочитала ее вслух нам троим, невесело посмеявшись над отрывком, где шла речь о «втором ряде». Мой отец сказал, что согласился бы на любой. «И они написали о тебе с определенным артиклем the. Тот самый скульптор Силия Барри. Подумай о нас, неопределенных». Позже он вырезал статью и приклеил к холодильнику. Роль моего отца в их браке – безжалостное самоотречение.

* * *

Иногда Ингрид заставляет кого-нибудь из своих детей звонить мне и болтать по телефону, потому что, по ее словам, она хочет, чтобы у нас были очень близкие отношения, а еще благодаря этому они хотя бы на пять секунд оставляют ее в покое. Однажды ее старший сын позвонил мне и сказал, что на почте была толстая женщина и что его любимый сыр – тот, который продается в пакетике, такого беловатого цвета. Потом Ингрид написала мне эсэмэску: «Он имел в виду чеддер».

Не знаю, когда он перестанет называть меня Марфой. Надеюсь, никогда.

* * *

Наши родители до сих пор живут в доме, где мы выросли, на Голдхок-роуд в Шепердс-Буш. Они купили его, когда мне исполнилось десять, а деньги им дала в долг сестра моей матери Уинсом, которая вышла замуж за богатство, а не за Сильвию Плат. В детстве они жили в квартире над мастерской по изготовлению ключей, как всем рассказывает мать, «в депрессивном приморском городке с депрессивной приморской матерью». Уинсом на семь лет старше ее. Когда их мать внезапно умерла от неустановленного типа рака, а отец потерял интерес ко всему и к ним в частности, Уинсом бросила Королевский музыкальный колледж и вернулась присматривать за моей матерью, которой тогда было тринадцать. Карьера у нее так и не сложилась. А моя мать – скульптор второстепенной важности.

Именно Уинсом нашла дом на Голдхок-роуд и устроила так, что мои родители заплатили за него гораздо меньше, чем он стоил, потому что это было выморочное имущество, и, как говорила мать, судя по запаху, тело прежнего хозяина все еще валялось где-то под ковром.

В тот день, когда мы переехали, Уинсом пришла помочь отмыть кухню. Я вошла, чтобы что-то взять, и увидела мать, которая сидела за столом и пила вино из бокала, и тетю в жилетке для уборки и в резиновых перчатках, которая стояла на верхней ступеньке стремянки и протирала полки внутри шкафчиков.

Они перестали разговаривать, а затем снова заговорили, когда я вышла из комнаты. Я стояла за дверью и слышала, как Уинсом говорила моей матери, что ей, возможно, следует хотя бы попытаться изобразить намек на благодарность, ведь иметь собственный дом – вещь

² Имеется в виду песня Your song 1970 года.

обычно недостижимая для скульптора и поэта, который не сочиняет стихов. Мать потом не разговаривала с ней восемь месяцев.

И тогда, и сейчас она ненавидит этот дом, потому что он узкий и темный; потому что единственный туалет отделен от кухни реечной дверью, так что, когда там кто-то находится, нужно громко включать радио. Она ненавидит этот дом, потому что на каждом этаже всего по одной комнате и очень крутая лестница. Она говорит, что всю свою жизнь проводит на этой лестнице и однажды умрет на ней.

Она ненавидит этот дом, потому что Уинсом живет в особняке в Белгравии. Огромный, он стоит на георгианской площади: как всем рассказывает моя тетья, на лучшей ее стороне, потому что солнце туда попадает во второй половине дня и вид на закрытый сад оттуда лучше. Дом был свадебным подарком родителей моего дяди Роуланда, ремонт в нем сделали за год до их переезда и с тех пор делают регулярно за такие суммы, которые моя мать считает аморальными.

При этом Роулэнд невероятно бережлив, но скорее в качестве хобби: ему никогда не приходилось работать – и только в мелочах. Он приклеивает незаконченный кусочек мыла к новому бруску, но позволяет Уинсом потратить за один ремонт четверть миллиона фунтов стерлингов на каррарский мрамор и скупать предметы мебели, которые в каталогах аукционов описаны словом «знаковый».

Уинсом выбирала для нас дом по принципу хорошего остова – как говорила мать, чего там только под ковром не завалилось, – и ждала, что со временем мы улучшим его. Но интерес моей матери к интерьеру никогда не выходил за рамки жалоб на то, каким он был. Мы переехали из съемной квартиры в далеком пригороде, и у нас не хватало мебели для комнат выше второго этажа. Мать не предприняла никаких усилий, чтобы ее раздобыть, и они долгое время оставались пустыми, пока отец не одолжил фургон и не вернулся с разборными книжными полками, маленьким диваном в коричневом вельветовом чехле и березовым столом: он знал, что матери они не понравятся, но сказал, что это временный вариант, пока он не издаст антологию и не пойдут гонорары. Большая часть этих вещей все еще находится в доме, включая стол, который она называет нашим единственным подлинным антиквариатом. Его перемещали из комнаты в комнату, он выполнял различные функции, и в настоящее время это рабочий стол моего отца. «Но не сомневаюсь, – говорит мать, – когда я буду на смертном ложе и в последний раз открою глаза, я пойму, что этот стол и есть мое смертное ложе».

Потом отец при моральной поддержке Уинсом решил покрасить первый этаж в терракотовый цвет под названием «рассвет в Умбрии». Поскольку он не обходил кистью ни стену, ни плинтус, ни оконную раму, ни выключатель, ни розетку, ни дверь, ни петлю или ручку, поначалу прогресс был стремительным. Но затем моя мать начала превращаться в убежденного противника любых домашних дел. В конце концов уборка, готовка и стирка легли исключительно на отца, и с покраской он так и не закончил. Даже сейчас коридор на Голдхок-роуд представляет собой терракотовый туннель, который заканчивается на полпути. Кухня терракотовая с трех сторон. Некоторые части гостиной окрашены в терракоту по пояс.

В детстве Ингрид больше чем я переживала о том, как у нас идут дела. Но ни одну из нас особо не волновало, что сломанные вещи никто никогда не ремонтировал, что полотенца всегда были влажными и их редко меняли, что отец каждый вечер готовил отбивные гриль на листе фольги, которым накрывал лист с прошлого вечера, так что на дне духовки постепенно вырос слоеный торт из фольги и жира. Если мать и готовила, то исключительно экзотические блюда без рецептов: тажины и рататуи – они отличались друг от друга только формой кусочков острого перца, которые плавали в жидкости с таким горьким привкусом помидора, что мне приходилось закрывать глаза и под столом тереть одной ступней о другую, чтобы это проглотить.

* * *

Мы с Патриком были частью детства друг друга: когда мы начали встречаться, у нас не было необходимости делиться подробностями прежней жизни. Вместо этого появилось постоянное соревнование, чья жизнь была хуже.

Однажды я сказала ему, что всегда была последней, кого забирали с дней рождения. «Так поздно, – говорила мать именинника, – наверное, нужно позвонить твоим родителям». Повесив трубку через несколько минут, она говорила, что мне не стоит беспокоиться, попробуем позвонить еще разок попозже. Я участвовала в уборке, затем в семейном ужине, в поедании остатков торта. Я рассказывала Патрику, что это было мучительно. А на моих собственных днях рождения мать пила.

Он потянулся, делая вид, что разминается. «Каждый мой день рождения от семи до восемнадцати лет проходил в школе. Его устраивал директор. Торт брали из шкафа с реквизитом театрального кружка. Он был из обожженного гипса». Он добавил, что у меня была неплохая попытка.

* * *

Обычно Ингрид звонит мне, когда едет куда-то с детьми, потому что, по ее словам, она может нормально разговаривать, только когда все зафиксированы и в идеале спят; теперь автомобиль, по сути, является гигантской детской коляской. Она как-то позвонила мне, чтобы рассказать, что только что встретила какую-то женщину в парке и та сообщила, что они с мужем разошлись и теперь у них совместная опека над детьми. По словам женщины, передача происходила утром в воскресенье, поэтому у каждого из них оставался один свободный выходной. Она стала одна ходить в кино субботними вечерами и недавно обнаружила, что ее бывший муж ходит один по воскресеньям. Часто выясняется, что они выбирают один и тот же фильм. Ингрид сказала, что в последний раз это были «Люди Икс: Первый класс». «Марта, ты когда-нибудь слышала что-нибудь более удручающее? Да, бля, сходите вместе. Вы же оба скоро умрете».

В детстве наши родители расставались примерно раз в два года. Предвестием всегда служило изменение атмосферы, которое обычно происходило в одночасье, и хотя мы с Ингрид никогда не понимали, почему это произошло, мы обе инстинктивно знали, что неразумно повышать голос громче шепота, просить о чем-нибудь или наступать на скрипучие половицы, пока отец не сложит одежду и пишущую машинку в корзину для белья и не съедет в отель «Олимпия», гостиницу с завтраками в конце нашей улицы.

Мать начинала проводить дни и ночи в своем сарае для переосмысления в дальней части сада, а мы с Ингрид оставались в доме одни. В первую ночь Ингрид затаскивала свое постельное белье в мою комнату, и мы лежали валетом без сна из-за звука металлических инструментов, падающих на бетонный пол, и долетающей из открытого окна скулящей, диссонирующей фолк-музыки, под которую работала наша мать. Днем она спала на коричневом диване, который попросила нас с Ингрид для этого принести. И несмотря на неизменную табличку на двери с надписью «ДЕВОЧКИ: прежде чем стучать, спросите себя – что, начался пожар?», перед школой я заходила и собирала грязные тарелки, кружки и все чаще и чаще – пустые бутылки, чтобы Ингрид их не видела. Долгое время я думала, что моя мама не просыпается потому, что я очень тихо себя веду.

Не помню, боялись ли мы, думали ли мы, что на этот раз все по-настоящему, что наш отец не вернется, что мы естественным образом усвоим такие фразы, как «бойфренд моей мамы» и «я оставила это у своего отца», бросаясь ими так же легко, как наши одноклассники,

которые утверждали, что любят отмечать по два Рождества. Ни одна из нас не признавалась, что волнуется. Мы просто ждали. Когда мы повзрослели, мы стали называть такие периоды Изгнаниями.

В конце концов мать отправляла одну из нас в отель, чтобы забрать отца, потому что, по ее словам, все это было чертовски нелепо, хотя Изгнания происходили неизменно по ее инициативе. Когда мой отец возвращался, она целовала его, прижав к раковине, а мы с сестрой с ужасом наблюдали, как ее рука пробирается вверх по его спине под рубашкой. Впоследствии обо всем этом не вспоминали кроме как в шутку. И потом устраивали вечеринку.

* * *

У всех джемперов Патрика дырки на локтях, даже у не очень старых. Одна сторона его воротника всегда завернута, а другая – нет, и, несмотря на то что он постоянно его заправляет, край рубашки сзади всегда торчит наружу. Через три дня после стрижки ему требуется стрижка. У него самые красивые руки из всех, что я когда-либо видела.

* * *

Не считая постоянных изгнаний нашего отца, вечеринки были главным вкладом матери в нашу семейную жизнь, и именно из-за них мы с такой готовностью прощали ее недостатки, сравнивая с матерями других ребят, которых знали. Вечеринки переполняли дом, гремели с вечера пятницы до утра воскресенья и были полны людей, которых мать описывала как культурную элиту Западного Лондона, хотя, кажется, единственными требованиями для приглашения на вечеринку были смутные связи с искусством, терпимость к запаху марихуаны и/или владение музыкальным инструментом.

Даже когда наступала зима, все окна были открыты, а в доме стояла жара, духота и витал сладковатый дым. Нас с Ингрид не прогоняли и не заставляли идти спать. Всю ночь мы ходили по комнатам, проталкиваясь сквозь толпы людей – мужчин в высоких сапогах или комбинезонах с женскими украшениями и женщин в мартенсах и в юбках поверх грязных джинсов. Мы не имели какой-то цели, мы просто хотели быть как можно ближе к ним.

Если они велели нам подойти и поболтать с ними, мы старались блеснуть. Некоторые относились к нам как ко взрослым, другие смеялись над нами, когда мы не пытались быть смешными. Если им нужна была пепельница или очередной напиток, когда они хотели узнать, где хранятся сковородки, потому что им захотелось пожарить яичницу в три часа ночи, мы с Ингрид боролись друг с другом за такие поручения.

В конце концов мы с сестрой засыпали, ни разу – в собственных кроватях, но всегда вместе, и просыпались среди беспорядка и фресок, спонтанно нарисованных на кусках стены, которые так и не окрасились в цвет рассвета в Умбрии. Последняя из них все еще держится на стене ванной, выцветшая, но не настолько, чтобы, стоя в душе, ты мог избежать изучения укороченной в угоду перспективе левой руки обнаженной женщины по центру. Впервые увидев ее, мы с Ингрид испугались, что это наша мать, нарисованная с натуры.

Мать, которая в те ночи пила вино из горла, вырывала сигареты у людей изо рта, пускала дым в потолок, смеялась, запрокинув голову, и танцевала. Волосы у нее тогда были еще длинные, натуральные, а сама она еще не растолстела. Она надевала комбинацию, плешивые лисьи меха и черные чулки, но никогда – обуви. Какое-то короткое время она еще носила шелковый тюрбан.

Как правило, мой отец в это время находился в углу комнаты и с кем-то беседовал: порой держал стакан с напитком и декламировал «Сказание о старом мореходе» с разными провинциальными акцентами перед небольшой, но благодарной толпой. Так или иначе, потом он сда-

вался и присоединялся к матери, когда она начинала танцевать, потому что она не прекращала звать его, пока он этого не делал.

Отец пытался повторять за ней и подхватывал, когда она кружилась так сильно, что уже не могла стоять. И он был намного выше ее – вот что я помню, он казался таким высоким.

Не могу описать, как выглядела моя мать, какой она была, я лишь задавалась вопросом, знаменита ли она. Все расходились, чтобы посмотреть, как она танцует, несмотря на то что она просто кружилась, обнимала себя руками или махала ими над головой, как будто пыталась имитировать движение водорослей.

Измученная, она висела в объятиях моего отца, но, заметив нас на краю круга, говорила: «Девочки! Девочки, идите сюда!» – и снова оживлялась. Мы с Ингрид отказывались, но после второй просьбы сдавались, ведь, танцуя вместе с ними, мы чувствовали, что нас двоих обожают наш высокий отец и наша забавная падающая мать и что нас четверых обожают эти люди вокруг, даже если мы не знали, кто они такие.

Теперь я понимаю: маловероятно, что наша мать тоже их знала. Целью ее вечеринок, казалось, было наполнить дом незаурядными незнакомцами и быть незаурядной в их глазах: не той, что раньше жила над мастерской по изготовлению ключей. Быть незаурядной в глазах нас троих ей было недостаточно.

* * *

Какое-то время, когда я жила в Оксфорде, мать присылала мне короткие электронные письма без темы. В последнем говорилось: «Ко мне принимается аукцион Тейт». С тех пор как я съехала из дома, отец присылал мне сканы стихов, написанных другими людьми. Раскрытые и прижатые к стеклу страницы книги выглядят как крылья серой бабочки, а толстая темная тень в центре – как ее тело. Я сохраняла их все.

В последний раз он прислал что-то из Ральфа Эллисона. Цветным карандашом он выделил строчку: «Конец моей истории лежит в ее начале». Рядом на полях его мелким почерком написано: «Возможно, в этом для тебя что-то есть, Марта». Патрик ушел как раз тогда. Я написала вверху страницы: «Конец наступил, и я не могу вспомнить начало, вот в чем все дело», и отправила обратно.

Ответ пришел через несколько дней. Он добавил лишь: «Не стоит ли попробовать?».

Мне было шестнадцать, когда я встретила Патрика. $1977 + 16 = 1993$. Рождество. Он стоял в черно-белом клетчатом коридоре дома моих дяди и тети с Оливером, их средним сыном, по-прежнему одетый в школьную форму и со спортивной сумкой в руках. Я только что приняла душ и спускалась, чтобы накрыть стол перед тем, как мы отправимся в церковь.

Моя семья никогда не встречала Рождество где-либо, кроме Белгравии. Уинсом требовала, чтобы мы оставались ночевать в канун Рождества, потому что, как она говорила, это делает обстановку более праздничной. И – этого она не говорила – это означало, что в рождественский день не будет проблем с опозданиями: мы четверо прибывали в одиннадцать тридцать на завтрак, который был назначен на восемь утра – как говорила моя мать, по белгравскому стандартному времени.

Мы с Ингрид спали на полу в комнате моей кухни Джессамин. Она была поздним ребенком Уинсом, на пять лет младше Оливера, который называл ее Несчастливым Случаем, когда поблизости не было взрослых, и ЧС, Чудесным Сюрпризом, когда взрослые были рядом, – пока он не подрос достаточно, чтобы понять, что и сам был сюрпризом: его старшего брата Николаса усыновили. Почему четыре года брака с Роулэндом не привели к рождению ребенка, о котором мечтала моя тетя, никогда не обсуждалось и, возможно, было неизвестно. Какова бы ни была причина, говорила моя мать, по прошествии стольких лет юридическая волокита с

усыновлением, должно быть, показалась им обоим предпочтительнее, чем дальнейшие мучения в спальне.

У моего ровесника Николаса было другое имя, когда его усыновили, и его происхождение никогда не обсуждали, помимо самого упоминания о наличии у него «происхождения». Но я слышала, как мой дядя говорил достаточно громко, чтобы сын мог его услышать, что, когда в Британии встает вопрос о приемных детях, можно взять ребенка любого цвета, пока этот цвет – коричневый. Я слышала, как Николас говорил своему отцу в лицо: «Если бы вы с мамой еще немного постарались, у вас было бы просто два белых ребенка». К моменту появления Патрика в нашей жизни Николас уже съезжал с рельсов и так никогда на них и не вернулся.

* * *

Оливеру и Патрику было по тринадцать лет, они вместе учились в школе-интернате в Шотландии. Патрик находился там с семи лет. Оливер, который проучился там один семестр, должен был приехать в канун Рождества, но опоздал на рейс, и его отправили на ночном поезде. Роуленд поехал забрать его у вокзала Паддингтон на своем черном «Даймлере», который моя мать называла «Ублюдомобилем», и вернулся с ними обоими.

Спускаясь по лестнице, я увидела, как мой дядя, все еще одетый в пальто, ругает сына за то, что тот привел друга на чертово Рождество, не спросив чертова разрешения. Я остановилась на полпути вниз и стала наблюдать. Патрик держался за край своего джемпера, скручивая и раскручивая его, пока Роуленд говорил.

Оливер сказал:

– Я же говорил тебе. Его отец забыл купить ему билет домой. Что я должен был делать, оставить его в школе с директором?

Роуленд сказал что-то резкое себе под нос, затем повернулся к Патрику: «Хотел бы я знать, что за отец забывает заказать своему сыну билет домой на Рождество. В чертов Сингапур».

Оливер сказал:

– Чертов Гонконг.

Роуленд проигнорировал его:

– А что насчет твоей мамы?

– У него ее нет. – Оливер посмотрел на Патрика, который продолжал комкать свитер, не в силах ничего сказать.

Роуленд медленно размотал свой шарф и, повесив его, сказал Оливеру, что его мать на кухне.

– Предлагаю тебе заняться чем-нибудь полезным. И... – обращаясь к Патрику, – ...ты, как там, тебя зовут?

Тот ответил:

– Патрик Фрил, сэр. – Это прозвучало как вопрос.

– Что ж, Патрик-Фрил-сэр, можешь не разводиться слякотью, раз уж ты здесь. И положи свою чертову сумку.

Он сказал Патрику, что тот может звать его и мать Оливера мистер и миссис Гилхоули, а затем ушел.

Я продолжила свое движение по лестнице. Они оба одновременно посмотрели на меня.

– Это моя кухня Марта, бла-бла, – сказал Оливер, схватил Патрика за рукав и потащил к лестнице, ведущей на кухню.

* * *

Несколькими месяцами ранее в особняк на другой стороне площади переехала Маргарет Тэтчер. Уинсом естественным и неестественным образом вставляла это в каждый разговор, на Рождество об этом дважды упоминалось за завтраком и снова, когда мы собирались в церковь на углу площади, который был ближе к дому моих дяди и тети, чем к дому премьер-министра.

Сперва люди замечают, а затем в итоге перестают замечать, что всякий раз, когда моя тетя обращается к какой-то важной теме, она приподнимает подбородок и закрывает глаза. В решающий момент они распахиваются и сильно выпучиваются, как будто она проснулась от шока. В конце концов она втягивает воздух, раздувая ноздри, и задерживает его пугающе долго, прежде чем медленно выдохнуть. В случае с Маргарет Тэтчер моя тетя всегда распахивала глаза, когда говорила, что наша леди премьер-министр выбрала «менее удачную сторону». Это приводило в ярость мою мать, по дороге в церковь она громко удивлялась, почему Уинсом, вместо того чтобы идти коротким путем, вела нас по трем сторонам площади.

Как только мы вернулись, мать понесла рождественские пирожки с сухофруктами полицейским, стоявшим перед домом Маргарет Тэтчер, и вернулась с пустой тарелкой. Уинсом заготавливает начинку для пирожков сама, с апреля, и она лишь улыбалась и улыбалась, когда мать сказала ей, что полицейским не разрешили принять пирожки и поэтому на обратном пути она выбросила их все в мусорное ведро.

Перед ланчем я переделась в свитшот с Микки-Маусом и черные велосипедки и вошла в столовую босиком – помню это, потому что, когда мы искали свои места, Уинсом сказала, что у меня еще есть время подняться наверх и переодеться, поскольку одежда из лайкры не соответствует духу рождественского стола, и, возможно, пока я буду наверху, мне стоит обуться. Моя мать сказала: «Да, Марта, а что, если миссис Тэтчер прямо сейчас прискачет с менее удачной стороны площади? Что тогда с нами будет?». Она взяла у Роуланда бокал вина.

Наблюдая, как она опустошает его, он сказал: «Ей-богу, Силия, это же не чертова микстура. По крайней мере, сделай вид, что оно тебе нравится».

Оно ей нравилось. Нам с Ингрид – нет. Дома, на вечеринках, пьянство матери всегда было для нас поводом для веселья. Теперь нам было не так весело. Мы, как и она, стали старше, и ее пьянство больше не зависело от того, были ли в доме интересные люди или вообще хоть какие-то люди. И уж тем более веселья не было в Белгравии, где мои дядя и тетя пили так, что их настроение не менялось, а мы с Ингрид узнали, что бутылки можно перезакупорить и убрать, а бокалы оставить на столе недопитыми. В тот день, который закончился тем, что Уинсом стояла на четвереньках рядом с креслом нашей матери и вытирала вино с ковра, это вызвало в нас стыд. Нам было стыдно за нашу мать.

Когда мы все уселись и Уинсом стала передавать блюда, обязательно справа налево, Роулэнд со взрослого конца стола спросил Патрика, сидящего на детском конце, какое у того этническое происхождение. Оливер сказал: «Папа, нельзя спрашивать у людей такое». Роулэнд возразил: «Очевидно, можно, раз я только что спросил» – и многозначительно посмотрел на Патрика, который послушно ответил, что его отец родился в Америке, а на самом деле он шотландец, а мать была – его голос в этот момент дрогнул, – мать была из британских индийцев.

В этом случае, сказал дядя, странно, что у Патрика произношение лучше, чем у его собственных сыновей, хотя ни один из его родителей не был англичанином. Николас тихо сказал: «О боже мой», – и его попросили покинуть комнату, но он этого не сделал. Мать однажды сказала нам с Ингрид, что в самые критичные для их сына годы ни Уинсом, ни Роулэнду не хватило последовательности в его воспитании, и это утверждение удивило нас обоих, потому что нас она вообще никак не воспитывала.

С нарочитым оживлением Уинсом спросила Патрика, как зовут его родителей. Он сказал, что отца зовут Кристофер Фрил и, почти неслышно, что мать звали Нина. Роулэнд начал снимать кожицу с ломтей индейки, которые тетя выложила на его тарелку, скармливая ее по кусочку сидящему у его ног уиппету, которого он приобрел за несколько недель до Рождества и назвал Вагнером. К сожалению, люди понимали шутку, только если он объяснял ее, немецкое произношение и написание. Частенько приходилось писать ее для демонстрации. Придя в то утро на завтрак, моя мать сказала, что лучше бы она всю ночь слушала всю оперу «Кольцо Нибелунгов» в исполнении ученика-скрипача, чем вой собаки в клетке. На следующий вопрос Роулэнда, чем занимается его отец, Патрик ответил, что тот работает в европейском банке, но извинился, что не помнит в каком. Мой дядя сделал большой глоток того, что было в его стакане, затем сказал: «Тогда расскажи-ка нам, что случилось с твоей матерью».

Блюда прекратили движение вокруг стола, но никто не приступил к еде из-за разговора на разных его концах. Изю всех сил стараясь не заплакать, Патрик объяснил, что она утонула в бассейне отеля, когда ему было семь лет. Роулэнд сказал: «Как не повезло» – и встряхнул салфетку, показывая, что интервью окончено. Оливер и Николас словно по выстрелу стартового пистолета сразу же схватили приборы и начали есть: голова наклонена, левая рука обнимает тарелку, как будто защищая ее от посягательств, а в это время вилка в правой руке сгребает еду. Патрик ел точно так же.

Его отправили в школу-интернат через неделю после похорон матери. Вот такой отец умудряется забыть заказать билеты домой собственному сыну.

Через несколько минут, во время затишья в разговоре взрослых, Патрик перестал загребать еду, поднял голову и сказал: «Моя мать была врачом». Никто его об этом не спрашивал – ни в тот момент, ни раньше. Он сказал это так, будто забыл, а теперь вспомнил.

Думаю, чтобы помешать Роулэнду снова открыть эту тему или выбрать тему похуже, мой отец принялся объяснять всему столу парадокс Тесея. Он сказал, что это философская загадка из первого века: если деревянному кораблю во время плавания через океан заменили все доски, то, когда он окажется по ту сторону океана, будет ли он технически тем же самым судном? Или, говоря иными словами, продолжил он, потому что никто из нас не понял, о чем он: «Является ли нынешний кусок мыла Роулэнда тем же самым мылом, которое он купил в 1980 году, или совершенно другим?». Моя мать сказала: «Парадокс Обмылка», потянувшись мимо него за открытой бутылкой.

* * *

В конце ланча Уинсом пригласила всех перейти в парадную гостиную, чтобы «кое-что открыть». Для нас с Ингрид открытие состояло в том, что деньги, на которые мы жили, не принадлежали нашим родителям.

Мы обе тогда учились в не всем доступной частной школе для девочек. Я получила стипендию, потому что, как в первый день рассказала мне девочка постарше, на экзамене у меня был второй лучший результат, а девочка с первым результатом умерла на каникулах.

Список школьной формы состоял из пяти листов с двух сторон. Мать читала его за столом со смехом, от которого я нервничала. «Гольфы зимние, с гербом. Гольфы летние, с гербом. Носки спортивные, с гербом. Купальник, с гербом. Шапочка для плавания, с гербом. Прокладки, с гербом». Она швырнула его на буфет и сказала: «Марта, не смотри так, я шучу. Уверена, тебе разрешат пользоваться неуставными прокладками».

Поскольку Ингрид стипендию не получила, наши родители записали ее в среднюю школу рядом с домом, бесплатную и с совместным обучением мальчиков и девочек: у девочек там было всего два вида школьной формы, как Ингрид всем говорила – обычная и для беременных.

Но в последний момент родители передумали и отправили ее в мою школу. Мать сказала, что продала одну свою работу. Мы с Ингрид испекли торт.

По дороге в Белгравию в канун того Рождества мы спросили у матери в машине, почему она не любит Уинсом, ведь несколько предыдущих часов она провела, отказываясь собираться, выдавая ежегодную угрозу не поехать всякий раз, когда отец пытался поторопить ее, и согласилась только после того, как ее достаточно поугovarивали. Она сказала нам, что не любит Уинсом потому, что та помешана на контроле и внешнем виде, и, несмотря на то что они сестры, она не может общаться с той, чьи две главные страсти – это отремонтировать дом и угощать стрянней большие группы людей.

При этом мать всегда дарила экстравагантные подарки – всем, но особенно Уинсом, которая открывала свой ровно настолько, чтобы было видно, что лежит внутри, а затем пыталась приклеить скотч обратно со словами, что это уж слишком. Мать всегда вставала и огорченно выходила из комнаты, а Ингрид говорила что-нибудь смешное, чтобы разрядить обстановку, но в тот год мать осталась на месте, всплеснула руками и спросила: «Почему, Уинсом? Почему ты никогда, никогда не бываешь благодарна за то, что я тебе покупаю?».

Моя тетя выглядела глубоко смущенной, ее глаза метались по комнате, пытаясь за что-нибудь зацепиться. Роуленд, который только что по традиции подарил ей сертификат в «*Маркс энд Спенсер*» на 20 фунтов стерлингов, сказал: «Потому что ты купила это на наши чертовы деньги, Силия».

Мы с Ингрид в тот момент сидели в одном кресле и схватили друг друга за руки. Ее ладонь, сжимающая мою, была горячее, и мы наблюдали, как наша мать пытается подняться на ноги со словами: «Что ж, Роуленд, вынь сам эти деньги из своего кармана». Она смеялась над собственным каламбуром всю дорогу до двери.

В том возрасте нам не приходило в голову, что поэт в творческом кризисе и скульптор, которой тогда еще предстояло достичь второстепенной важности, ничего не зарабатывают, а за наши купальники с гербом, как и за все остальное, платили дядя и тетя. Когда мать вышла из комнаты, Ингрид сказала Уинсом: «А что там? Я могу забрать это себе, но только если это не скульптура», – и все наладилось.

* * *

В Белгравии было правило: дети открывали подарки в порядке старшинства, от младшего к старшему. Джессамин первая, Николас и я последние. Когда подошла очередь Оливера, Уинсом ненадолго исчезла и вернулась с подарком, который незаметно для всех, кроме меня, положила под елку. Мгновение спустя она достала его и сказала: «А это для тебя, Патрик». Он выглядел ошеломленным. Это был какой-то сборник комиксов. Поняв, что это, Ингрид прошептала: «Печально», – но я подумала, что никогда не видела, чтобы мальчик улыбался так широко, как Патрик, когда тот отвлекся от подарка, чтобы поблагодарить мою тетю.

Появление подарка с его именем, когда никто не знал о его приезде, оставалось для него загадкой на долгие годы: до тех пор, пока мы не начали упаковывать вещи, чтобы переехать в Оксфорд. Патрик нашел книгу на полке и спросил, помню ли я ее. Он сказал: «Это был один из лучших подарков, которые я получал в детстве. Понятия не имею, как Уинсом ухитрилась раздобыть его для меня».

«Он был из ее шкафчика с подарками на случай неожиданностей, Патрик».

Казалось, он слегка поник, но сказал: «И все же» – и замер, углубившись в чтение, пока я не забрала книжку у него из рук.

* * *

В тот первый год я разговаривала с Патриком всего один раз, во время прогулки до Гайд-парка и вокруг Кенсингтонских садов, куда нас всегда заставляли идти после обеда, чтобы Роуленд мог посмотреть речь королевы в относительном спокойствии. В относительном, потому что моя мать начинала ругать институт монархии с самого первого кадра съемки Виндзорского замка с воздуха и продолжала в течение всего выступления Ее Величества, в то время как мой отец читал вслух отрывки из книги, которую подарил сам себе на Рождество.

Мы с Ингрид шли прямо за Патриком, когда в конце Брод-уок он внезапно остановился и дернулся за теннисным мячом, который бросил ему Оливер. Моя сестра не остановилась вовремя, и его вытянутая рука сильно ударила ее в грудь. Она выругалась и сказала Патрику, что он больно стукнул ее по сиське. Он выглядел ошеломленным и извинился. Я сказала ему, чтобы не волновался, ведь сложно не стукнуть Ингрид по сиське. Он извинился и за это и побежал вперед.

* * *

На следующий год Патрик приехал опять, на этот раз по договоренности с Уинсом, потому что его отец снова женился – на китайско-американской юристке по имени Синтия – и у него был медовый месяц. Мне исполнилось семнадцать. Патрику четырнадцать. Я поздоровалась, когда он появился на кухне с Оливером: он остановился у двери, проделывая знакомый трюк с краем своего джемпера, пока мой кузен искал то, за чем зашел. В какой-то момент в тот день мы все поднялись в комнату Джессамин и сели на незастеленные надувные матрасы, все, кроме Николаса, который подошел к окну и вынул из кармана сигарету-самокрутку, плохо свернутую и готовую рассыпаться. Джессамин, которой было девять лет, замахала руками и заплакала, когда он попытался зажечь ее.

Ингрид сказала: «Никто не считает, что ты крутой, Николас. – И посадила Джессамин между нами. – Похоже на чайный пакетик, завернутый в туалетную бумагу».

Я предложила поискать для него скотч, а затем спросила Джессамин, не хочет ли она посмотреть фокус. Она кивнула и позволила Ингрид вытереть себе слезы рукавом свитера. Тогда у меня стояли брекеты, и я у всех на виду начала двигать языком по внутренней стороне щеки. Секунду спустя я сложила губы в букву «О», и одна из резинок, фиксирующих брекеты, вылетела. Она приземлилась на тыльную сторону руки Патрика. Некоторое время он неуверенно смотрел на нее, затем осторожно снял.

Позже, дома, Ингрид зашла в мою комнату, чтобы разложить все наши подарки на полу, проверить, кому досталось больше, и отсортировать их по кучкам «Нравится» и «Не нравится», хотя мы были уже слишком взрослыми для этого. Она сказала, что видела, как Патрик сунул резинку в карман, когда думал, что никто на него не смотрит. «Потому что он влюблен в тебя».

Я сказала ей, что это мерзко. «Он же ребенок».

«К тому времени, когда вы поженитесь, разница в возрасте уже не будет важна».

Я изобразила, что меня тошнит.

Ингрид сказала: «Патрик любит Марту», – выудила диск «Лучшие треки-93» из моей кучки «Не нравится» и сунула в мой CD-плеер.

Это было последнее Рождество перед тем, как в моем мозгу взорвалась маленькая бомба. Конеч, что скрывается в начале. Патрик приезжал каждый год.

Утром перед экзаменом по французскому я проснулась, не чувствуя рук и ладоней. Я лежала на спине, и слезы уже лились из уголков моих глаз, по вискам и затекали в волосы. Я

встала, пошла в ванную и в зеркале увидела вокруг рта темно-фиолетовый круг, похожий на синяк. Я не могла перестать дрожать.

На экзамене я не могла дочитать задание до конца: я просидела, глядя на первую страницу, пока не вышло время, и ничего не написала. Вернувшись домой, я поднялась наверх, залезла под стол и сидела неподвижно, как маленькое животное, которое инстинктивно знает, что умирает.

Я просидела там несколько дней, спускаясь лишь за едой и в туалет, а в конце концов – только в туалет. Я не могла спать ночью или бодрствовать днем. По коже ползало что-то невидимое. Я впадала в ужас от шума. Постоянно заходила Ингрид и умоляла перестать странно себя вести. Я просила ее: «Уйди, пожалуйста, уйди». Затем я слышала, как она кричит из коридора: «Мама, Марта снова под столом».

Сперва мать мне сочувствовала, приносила стаканы с водой, пытаясь разными способами уговорить меня спуститься вниз. Потом это начало ее раздражать, и, когда Ингрид звала ее, она говорила: «Марта выйдет, когда захочет». Она больше не заходила в мою комнату, за исключением одного раза, с пылесосом. Она сделала вид, что не замечает меня, но донесла свою позицию, начав пылесосить пол у моих ног. Это мое единственное воспоминание, касающееся матери и любой формы уборки.

* * *

По распоряжению отца вечеринки на Голдхок-роуд были приостановлены. Пока мне не станет получше, сказал он матери. Она ответила: «Да кому нужно это веселье», – а затем очень коротко постриглась и начала красить волосы в оттенки, которые не встречаются в природе.

Предположительно, она стала толстеть именно от стресса из-за моей болезни. Ингрид говорит, если это правда, то я также виновата в том, что она начала носить платья-мешки: без талии, из муслина или льна, неизменно пурпурные, одно поверх другого, так что их подола разной длины свисали вокруг ее лодыжек, как уголки скатерти. С тех пор мать не изменяла этому стилю, за исключением покупки дополнительного слоя на каждый новоприобретенный фунт веса. Теперь, когда она приняла форму шара, создается впечатление, будто на птичью клетку хаотично накидали множество покрывал.

До того как я заболела, мать называла меня Гудок, потому что в детстве я вечно напевала повторяющуюся, немелодичную, мной самой придуманную песню, которую затягивала сразу как просыпалась и продолжала, пока кто-нибудь не просил меня остановиться. Воспоминания об этом у меня в основном от других: как однажды я пела о своей любви к консервированным персикам все шесть часов поездки в Корнуолл, как меня настолько тронула песня о собачке без мамы или о потерянном фломастере, что я доводила себя до слез, таких бурных, что как-то раз меня вырвало в ванну.

Вот единственное мое воспоминание: я сижу в саду на некошеной траве возле сарая матери, пою о занозе в ноге, а ее голос раздается изнутри, и она поет: «Иди сюда, Гудок, я ее вытащу». Когда я заболела, она перестала звать меня Гудком и дала мне прозвище Наш Домашний Критик.

Ингрид говорит, что у нее всегда были стервозные наклонности, а я просто вытаскивала их на свет.

* * *

В прошлом году я купила очки, которые мне были не нужны, потому что во время проверки зрения офтальмолог упал с крутящегося табурета. Он выглядел настолько подавленным,

что я специально стала неправильно читать буквы. Они лежат в бардачке, до сих пор не распакованные.

* * *

С самого начала отец не спал ночами вместе со мной – он сидел на полу, прислонившись к моей кровати. Предлагал почитать мне стихи, а если я не хотела, чтобы он это делал, то очень тихо рассказывал про разные не связанные между собой вещи, не требуя ответа. Он никогда не надевал пижаму: думаю, он не переодевался для сна, чтобы мы могли притворяться, что вечер еще не закончился и мы занимаемся обычными делами.

Но я знала, что он волнуется, и мне было так стыдно за все, что я делаю, и спустя месяц я все еще не знала, как это прекратить, поэтому я позволила ему отвезти меня к врачу. По дороге я лежала на заднем сиденье.

Врач задал моему отцу несколько вопросов, пока я сидела на стуле рядом с ним и смотрела в пол, и в конце концов сказал, что, судя по усталости, бледности, плохому настроению, это, скорее всего, мононуклеоз, а в анализе крови нет никакого смысла. И еще ему нечего мне прописать – мононуклеоз проходит сам по себе, – но, по его словам, некоторым девушкам нравится сама идея о том, чтобы принять какие-то таблетки, в таком случае – таблетки, содержащие железо, в помощь. Он хлопнул себя по бедрам и встал. У двери он кивнул на меня и сказал отцу: «Очевидно, кое-кто целовался с мальчиками».

По дороге домой отец остановился и купил мне мороженое, я попыталась его съесть, но не смогла, и ему пришлось высунуть растаявший рожок из окна и держать его так до конца поездки. У двери в дом он остановился и сказал, что, вместо того чтобы направиться напрямик к себе комнату, я всегда могу зайти отдохнуть в его кабинете. Это первая комната от входа. Для смены обстановки, добавил он, – под обстановкой он имел в виду место у меня под столом, хотя этого он не озвучил. У него есть дела – разговаривать нам не нужно. Я сказала «да» потому, что знала, что он этого хочет, и потому, что как раз прошла шесть ступенек вверх от пешеходной дорожки и мне нужно было посидеть, прежде чем подняться по лестнице в свою комнату.

Я ждала в дверях, пока он убирал книги и стопки бумаг с коричневого дивана, который в очередной раз вернулся в дом и стоял у стены под окнами. У него все валялось из рук, потому что он пытался убраться так быстро, как будто я могла передумать и уйти, если бы он замешкался. Раньше я всегда думала, что мне нельзя заходить в кабинет, но пока я ждала, то поняла, что эта мысль возникла у меня только потому, что мать говорила: зачем кому-то захочется в него заходить, если такой необходимости нет? Из всех комнат в доме эту она ненавидела больше всех, потому что, по ее словам, в кабинете царил аура непродуктивности.

Когда он закончил, я вошла и легла на бок, положив голову на низкий подлокотник дивана, лицом к его столу. Отец подошел к стулу и поправил лист бумаги, который уже был в пишущей машинке, затем потер ладони. Раньше, когда я слышала звук его машинки из другой части дома или проходила мимо закрытой двери по пути к выходу, я представляла, что отец там мучается, потому что он всегда выглядел истощенным, когда выходил готовить отбивные. Но как только отец начал стучать указательными пальцами по клавишам, на его лице появилось выражение тихого блаженства. Через минуту он, казалось, забыл, что я рядом. Я лежала и смотрела на него – как он останавливается в конце строки, чтобы перечитать написанное, беззвучно произнося слова про себя, как улыбается. Затем ударяет по рычагу левой рукой, каретка отлетает к краю, он снова потирает ладони, еще одна строка. Клавиши его пишущей машинки издавали не столько резкий треск, сколько глухой стук. Меня не тревожил шум, меня убаюкивало до дремоты повторение этих действий и само его присутствие – ощущение пребывания в комнате с кем-то, кто действительно хотел быть живым.

* * *

Я начала проводить там каждый день. Через некоторое время я перестала лежать на диване и вместо этого сидела и смотрела на улицу. Однажды я нашла ручку между подушками, и когда мой отец заметил, что я равнодушно рисую у себя на руке, он встал и подошел ко мне с бумагой и кратким оксфордским словарем. Ненадолго присев рядом со мной, он написал на полях слева буквы алфавита и предложил написать рассказ в одно предложение, используя каждую букву по порядку. Он сказал, что словарь нужен лишь для того, чтобы было удобнее писать, и вернулся к своему столу.

Я придумала несколько сотен таких рассказов. Они все еще валяются где-то в коробке, но из тех времен я помню всего один, потому что, когда я закончила его, отец сказал, что однажды он станет одним из главных моих произведений.

А
Барбаре
Винсент
Гнусно,
Даже
Едва ли
Жалея,
Злодей,
Изменил -
Как
Людская
Молва
Нынче
Обсуждает,
Предстоит
Развод:
Семье
Трудно
Ужасно,
Фантастический
Хам
Целовал и
Чертовски
Шокирующе
Щупал
Экзотичного
Юного
Ямайца.

Я до сих пор иногда придумываю их, когда не могу уснуть. Сложнее всего с буквой «Щ».

* * *

Подруга Ингрид, которая однажды зашла, когда я была у сестры, сказала мне, что приложение «Хэдспейс»³ изменило ее жизнь. Я хотела спросить, какой была ее жизнь раньше и какова она теперь.

* * *

В сентябре я чувствовала себя хорошо. Мы с отцом решили, что мне нужно поступить в университет. Но я чувствовала себя хорошо, лишь когда была с ним в кабинете. С самого начала занятий я не могла досидеть до конца лекции. Я пропускала дни, а потом и недели. Я стала возвращаться под стол, когда была дома. Ближе к концу семестра декан отправил меня в академический отпуск. Он дал мне брошюру по стресс-менеджменту и сказал, что мне нужно будет хорошо проявить себя на экзаменах, если я решу вернуться в январе. Я должна использовать праздники, чтобы серьезно подумать. Увидев меня вне своего кабинета, он сказал: «В каждом потоке бывает студент вроде тебя» – и пожелал мне счастливого Рождества.

* * *

На верхнем этаже дома на Голдхок-роуд есть железный балкон, на который мы не выходили, потому что он проржавел и отламывался от стены. Однажды ночью в праздники я вышла на него босиком и стояла на решетке пола, глядя через перила на длинный черный прямоугольник сада, расположенный четырьмя этажами ниже.

Все болело. Подошвы ног, грудь, сердце, легкие, кожа головы, суставы, скулы. Было больно говорить, дышать, плакать, есть, читать, слушать музыку, находиться в комнате с другими людьми и быть в одиночестве. Я долго стояла там, ощущая, как балкон иногда качается на ветру.

Нормальные люди говорят: «Не могу представить, что почувствую себя настолько плохо, что искренне захочу умереть». Я не пытаюсь им объяснить, что дело не в том, что ты хочешь умереть. А в том, что ты знаешь, что тебе не положено жить, ты чувствуешь усталость, которая перемальвает кости, усталость и ужасно сильный страх. Тебе нужно наконец исправить неестественный факт своего существования.

* * *

Худшее, что Патрик когда-либо говорил мне: «Иногда мне кажется, что тебе на самом деле нравится такой быть».

* * *

Вот причины, по которым я ушла с балкона обратно в дом. Я не хотела, чтобы люди подумали, что мой отец плохой родитель. Не хотела, чтобы Ингрид провалила экзамены. Не хотела, чтобы мать однажды превратила это в свое искусство.

³ Приложение с медитациями.

Но Патрик – единственный, кто знает главную причину, она хуже всего, о чем я когда-либо думала. Я вернулась в дом, потому что даже тогда, в том состоянии, я считала себя слишком умной и особенной, лучше любого другого, кто сделал бы то, ради чего я вышла, – я не очередная студентка из каждого потока. Я вернулась в дом, потому что была слишком гордой.

Однажды в своей забавной колонке про еду я написала, что пармская ветчина стала банальностью. После выхода журнала одна читательница прислала мне электронное письмо, в котором говорила, что я показалась ей неприятно высокомерной, а она будет продолжать наслаждаться пармской ветчиной. Я распечатала письмо и показала его Патрику. Он прочитал его, приобняв меня одной рукой, затем притянул к себе и сказал, повернувшись лицом к моей макушке:

– Я рад.

– Тому, что она не собирается отказываться от ветчины?

– Тому, что ты неприятно высокомерная. – Он имел в виду, что именно поэтому я все еще жива.

Наверное, это не самое худшее, о чем я когда-либо думала. Но входит в топ-сто.

* * *

Худшее, что когда-либо говорила мне Ингрид: «Ты фактически превратилась в маму».

* * *

Несколько месяцев назад Ингрид позвонила мне и рассказала о креме, который она начала использовать, чтобы избавиться от коричневого пятна, появившегося на лице. На обратной стороне тюбика было написано, что он подходит для применения на большинстве проблемных зон.

Я спросила, работает ли, по ее мнению, крем на моей личности.

Она сказала: «Возможно. Но не заставит ее исчезнуть полностью».

* * *

После той ночи на балконе я спросила у отца, можно ли сходить к другому врачу. Я рассказала ему, что случилось. Он был на кухне, ел вареное яйцо и встал так быстро, что его стул опрокинулся. Я позволила ему обнимать меня, как мне показалось, слишком долго. Затем он велел мне подождать, пока он найдет в своем кабинете список других врачей, которых он выписал в блокнот.

Врач, которую мы выбрали, потому что она была единственной женщиной в списке, вытащила ламинированный опросник из вертикально стоящей папки и стала зачитывать вопросы с красным маркером в руке. Карточка была розовой из-за отметок и стертых ответов других людей. «Как часто тебе бывает грустно без причины, Марта? Всегда, иногда, редко, никогда? Ага, всегда», – а затем, после моего ответа на каждый последующий вопрос, повторяла: «Так, опять всегда; и тут всегда; давай угадаю – всегда?».

В конце она сказала: «Ну, проводить подсчет нет необходимости, я полагаю, мы можем смело предположить...» – и выписала рецепт на антидепрессант, который был, продолжила она, «разработан специально для подростков», как будто это крем от прыщей.

Отец попросил ее уточнить, чем именно он отличается от антидепрессантов, разработанных для взрослых. Доктор подкатила к нему свое офисное кресло, сделав серию шажков сидя, и понизила голос: «Он меньше влияет на либидо».

Мой отец со страдальческим видом протянул: «А-а».

Доктор добавила, по-прежнему обращаясь к нему: «Я предполагаю, что она живет половой жизнью».

Я захотела выбежать из кабинета, когда она продолжила тихо объяснять, что, хотя вышеупомянутое либидо не будет затронуто, мне нужно принимать более строгие меры предосторожности от случайной беременности, потому что лекарство небезопасно для развивающегося эмбриона. Она хотела бы добиться полной ясности в этом вопросе.

Отец кивнул, и доктор сказала: «Превосходно», – затем мелкими шажочками подкатила кресло ко мне и стала говорить громче, чем обычно, чтобы поддержать иллюзию, что я не слышала того, что она сказала отцу. Она сообщила мне, что две недели у меня будет головная боль и, возможно, сухость во рту, но через несколько недель я снова почувствую себя прежней Мартой.

Она передала рецепт моему отцу и, когда мы встали, спросила, купили ли мы уже все подарки к Рождеству. Она даже не начинала. Кажется, с каждым годом время несется все быстрее.

По дороге домой отец спросил меня, почему я плачу: просто так или по какой-то определенной причине.

Я сказала:

– Из-за слова «эмбрион».

– Стоит ли мне спрашивать, – суставы его пальцев, стискивающих руль, побелели, – была ли она права, предполагая, что ты уже...

– Нет.

Паркуясь у аптеки, он сказал, что мне можно не выходить, потому что он вернется всего через минуту.

* * *

Капсулы были светло-коричневыми и темно-коричневыми, и, поскольку доза в них была низкая, мне необходимо было принимать по шесть штук в день, но важно, чтобы я увеличивала их количество постепенно, в течение двух недель; доктор хотела полной ясности и по этому поводу тоже. Тем не менее я решила не тянуть резину и отправилась в ванную, как только мы вернулись домой. Там была Ингрид, которая отстригала себе челку. Она остановилась и принялась наблюдать, как я пытаюсь засунуть в себя сразу шесть таблеток. Когда все они в очередной раз выпали, она сказала: «Эй, это твой старый друг Коржик с Улицы Сезам» – и изобразила, что запихивает их в рот, снова и снова повторяя: «Я ем печень».

Они ощущались как пластик и оставили во рту привкус шампуня. Я сплюнула в раковину и собралась уходить, но Ингрид попросила меня ненадолго остаться. Мы залезли в пустую ванну и легли на противоположных концах, прижав ноги к бокам друг друга. Она рассказывала о нормальных вещах и изображала нашу мать. Я очень хотела рассмеяться, потому что сестра явно огорчалась, когда я этого не делала. В конце концов она вылезла, чтобы посмотреть в зеркало на свою челку, и сказала: «Боже мой, все, отращиваю обратно».

И все же каждый раз, когда мне приходится глотать таблетку, я думаю: «Я ем печень».

* * *

Из сыновей Ингрид средний – мой любимчик, потому что он застенчивый и тревожный, и, с тех пор как он начал ходить, он постоянно держится за все подряд – за подол ее юбки, за ногу старшего брата, за край стола. Я видела, как он протянул руку и засунул кончики пальцев zzzv карман Хэмиша, пока они шли рядом: за один шаг отца ему приходилось делать два.

Укладывая его однажды спать, я спросила, почему ему так нравится держать что-то в руке. В тот момент он держал тесемку своей фланелевой пижамы.

Он ответил: «Мне не нравится».

Я спросила, почему же тогда он это делает.

«Чтобы не утонуть. – Он нервно посмотрел на меня, как будто я могла засмеяться над ним. – А мама не сможет меня найти».

Я сказала, что мне знакомо это чувство, когда не хочешь утонуть. Он протянул мне край тесемки и спросил, не нужна ли она мне – он бы мне ее отдал.

«Я знаю, что ты отдал бы, но не нужно. Спасибо. Это твоя штучка».

Все еще держа ткань в руке, он осторожно поднялся, потянул за кончики моих волос, пока мое лицо не приблизилось к его, и прошептал: «На самом деле у меня две одинаковые пижамы». Если я передумаю, то могу попросить. Он перекатился на бок и заснул, обхватив пальцами другой руки вокруг моего большого пальца.

Две недели у меня болела голова и, возможно, сохло во рту. В канун Рождества голова все еще болела, и я сказала матери, что чувствую себя недостаточно хорошо, чтобы оставаться на ночь в Белгравии, и ехать на следующий день тоже не хочу.

Мы вчетвером были на кухне. Мы уже опоздали, поэтому отец раскладывал на полу страницы литературного обозрения «Таймс», чтобы отполировать свои ботинки – не те, которые он собирался надеть, – всю свою обувь, а моя мать как раз решила принять ванну, которая громко наполнялась за дверью. На ней было изношенное шелковое кимоно, которое постоянно распахивалось. Ингрид, которая стояла у стола и быстро и плохо заворачивала подарки, каждый раз замирала и закрывала глаза руками в беззвучном крике, как будто только что ослепла при взрыве на фабрике. Я ничего не делала, просто сидела на стремянке в углу и наблюдала за ними.

Мать зашла в ванную и вернулась с корзиной для белья. Я смотрела, как она принялась складывать в нее подарки, и смутно расслышала, как она бурчит, что, если бы мы ездили в Белгравию только когда нам этого хочется, она бы оказалась там ровно один раз. Меня отвлекла корзина для белья, потому что это была та самая корзина, которой пользовался отец, когда съезжал в отель «Олимпия».

Я взглянула на него, он натирал коричневым кремом черный ботинок с помощью кухонной салфетки. Он стал выходить из дома так редко, что было странно видеть, как он куда-то собирается. Он не выходил, даже когда мать велела ему или Ингрид умоляла отвезти ее куда-нибудь. Причины его отказов: ждал звонка от редактора, забыл, куда положил права, тысяча вариантов на автоответчике – моя мать считала настолько надуманными, что было очевидно: он пытался уклониться как только может.

Она сказала:

– Марта.

Я моргнула в ответ.

– Ты слышала, что я сказала?

– Я могу просто остаться дома одна.

– О, мы все хотели бы просто остаться дома одни.

Ей отказывают в этом удовольствии уже несколько месяцев, сказала она, мельком взглянув на отца, и я поразились, как мне раньше не пришло в голову, что с той ночи на балконе он следил за тем, чтобы я никогда, никогда не оставалась в одиночестве.

Он выглядел очень усталым. Мать откупорила бутылку вина и понесла ее с собой в ванную, включив радио, когда проходила мимо.

Через несколько часов мы сели в машину и поехали в Белгравию: корзина для белья, полная подарков, – на коленях Ингрид, а моя голова – на ее плече. Уинсом была единственной,

кто нас ждал. Она была слишком разъярена, чтобы взглянуть на мою мать, и удостоила моего отца лишь сухим кивком. Она поцеловала нас с Ингрид, а затем сказала, что подготовила мне постель на диване в гнездышке – так она заставляла моих кузенов называть комнату с телевизором на первом этаже рядом с кухней. Она сказала: «Твой отец позвонил сегодня утром и сказал, что ты плохо себя чувствуешь и не хочешь спать с остальными», и теперь она меня увидела, я и правда выглядела осунувшейся.

Утром я не вышла. Никто не пытался меня заставить. Ингрид принесла завтрак, хотя знала, что я не буду есть. Она сказала, что мне нужно выпить чай.

Я не спала уже много часов, но не чувствовала ужаса, который, казалось, предшествовал бодрствованию и всепоглощающей печали, сопровождавшей его многие месяцы. Лежа неподвижно в темноте и ожидая их прихода, я раздумывала, в чем причина: не в том ли, что я проснулась в другой комнате?

После того как Ингрид вышла, я села и прислушалась к звукам голосов с кухни, рождественских песен по радио и моих кузенов, носившихся вверх-вниз по лестнице, дребезжащему свисту Роуланда, когда он проходил мимо моей двери. От этих звуков я почувствовала не ужас, а спокойствие: даже от резких, одиночных ударов, когда наверху слишком сильно хлопали дверями, и от безумного лая Вагнера. Я задумалась: может, мне стало лучше? И выпила чай.

Около девяти шум сконцентрировался в коридоре, крики достигли максимума, а затем в доме воцарилась почти полная тишина. Еще одним человеком, который не ходил в церковь – я поняла это, когда услышала, как радио переключили с рождественских песенок на декламирующий мужской голос, – был мой отец.

* * *

Джессамин постучала в мою дверь вскоре после того, как я услышала, что все вернулись. Ей было десять, и ее одели как одну из внучек королевы. Ей было поручено сообщить мне, что ланч готов, а еще – что я не обязана выходить и есть.

– Или, – она почесала ногу в колготках, – если хочешь поесть здесь, тебе разрешили, кто-нибудь может тебе принести.

Я сказала, что ничего не хочу. Она скосила глаза, чтобы показать, что я сошла с ума, и вышла, оставив дверь открытой.

Я встала, чтобы ее закрыть. Снаружи маячил Патрик. Он был на фут выше, чем годом ранее, и поздоровался голосом, настолько непохожим на тот, которого я ожидала, что я рассмеялась.

Смущенный, он опустил глаза. На мне были спортивные штаны и свитшот, в которых я приехала, но я сняла бюстгальтер и внезапно почувствовала это. Я скрестила руки на груди и спросила, что он делает. Тербя то один рукав, то другой, он сказал, что ему нужно позвонить отцу и Роулэнд велел ему воспользоваться телефоном в гнездышке, но потом Джессамин сказала ему, что здесь я.

– Могу выйти.

Патрик ответил, что не нужно, он может просто сходить поискать другой телефон, затем быстро огляделся, как будто мой дядя мог откуда-нибудь выскочить. Я сделала полшага в сторону, и он ворвался внутрь.

Минуту или две он односложно разговаривал со своим отцом. Я ждала за дверью, пока не услышала, как он прощается. Он стоял рядом с телефонным столиком, тупо разглядывая висящую над ним картину, изображающую нападение льва на лошадь. Прошло мгновение, прежде чем он заметил меня и извинился, что так долго разговаривал. Я думала, что он уйдет, но он просто стоял, а я подошла обратно к дивану и села на одеяло, скрестив ноги, прижав

подушку к груди и молча желая, чтобы он ушел и чтобы мне снова можно было лечь. Патрик стоял на месте. Поскольку я не могла придумать другого вопроса, я спросила:

– Как дела в школе?

– Хорошо. – Он повернулся, помолчал, затем сказал: – Мне жаль, что ты болеешь.

Я пожала плечами и вытянула нитку из молнии на подушке. Хотя Патрик проводил с нами уже третий год, я не могла припомнить, чтобы мы с ним разговаривали о чем-то кроме сколько сейчас времени или где поставить тарелки, которые он принес на кухню. Но после того как он в очередной раз не ушел, я сказала:

– Ты, наверное, скучаешь по отцу.

Он улыбнулся и кивнул, но так, чтобы я поняла – нет.

– А по маме скучаешь?

Как только я это сказала, его лицо изменилось, но на нем не отразилась эмоция, которую я могла бы назвать, – скорее ее отсутствие. Он подошел к окну и встал, повернувшись спиной, свесил руки вдоль тела и молчал так долго, что, когда в конце концов произнес «да», мне показалось, что это «да» ни к чему не относится. Его плечи поднялись и опустились от тяжелого вздоха, и я почувствовала себя виноватой, что никогда не задумывалась, как одиноко он, должно быть, себя чувствовал, будучи нашим единственным неродственнымником. И что отмечать каждое Рождество в чужой семье было в меньшей степени его желанием, а в большей – причиной для стыда.

Я немного поерзала и спросила:

– Какой она была?

Он остался у окна:

– Она была очень славной.

– Ты помнишь про нее что-то конкретное? Тебе же было семь.

– Не особо.

Я вытянула из подушки еще одну нитку.

– Это грустно.

Патрик наконец обернулся и тихо сказал, что единственное, что он может вспомнить без помощи фотографий, это как однажды на кухне дома, в котором они жили перед ее смертью, он попросил яблоко, и когда дала ему его, она спросила: «Хочешь, я надкушу его для тебя?».

– Не знаю зачем.

– Сколько тебе было лет?

– Пять или около того.

– У тебя, наверное, тогда не было передних зубов.

У эмоции, которая в тот момент отразилась на его лице, не было названия. Это были все эмоции, вместе взятые. После этого Патрик ушел.

* * *

В минуте или двух от Дома Представительского Класса есть кафе, куда я раньше ходила каждое утро. Там был очень молодой и неуловимо похожий на какую-то знаменитость бариста. Однажды я пошутила об этом, пока он накрывал мой кофе крышкой. Он сказал в ответ что-то досадно-кокетливое, и к концу недели я оказалась в вынужденных отношениях взаимного подтрунивания. Они быстро стали обременительными, и я начала ходить в кафе чуть дальше, где кофе не так хорош, но зато не нужно ни с кем разговаривать.

* * *

Снова оставшись одна, я встала с дивана и попыталась найти что-нибудь почитать. На журнальном столике лежал только еженедельник «Радио таймс» и полностью переработанное и обновленное издание «Все об уиппетах», а на письменном столе моей тети были ноты.

Я уже знала, что она поступила в Королевский музыкальный колледж «в нежном шестнадцатилетнем возрасте», потому что, по словам моей матери, тетя, должно быть, нашептывала мне это с колыбели. Так что это никогда не казалось чем-то экстраординарным. Я никогда не задумывалась, как ей это удалось: с депрессивной матерью с побережья, непутевым отцом и без денег. Взяв ноты и перелистывая страницы, пораженная количеством ее пометок, я осознала, что не помню, чтобы когда-нибудь слышала ее игру. О рояле в гостиной я думала только как о предмете, на который нельзя ставить напитки или что угодно влажное.

Пока я стояла там, дверь приоткрылась и вошла Уинсом с подносом. На ней был фартук, промокший от мыльной воды. Я положила ноты и извинилась, но как только она поняла, что я держу, она, казалось, обрадовалась. Я сказала, что никогда не видела такой сложной музыки. Уинсом ответила, что это просто кое-что из раннего Баха, но, похоже, ей не хотелось переводить разговор на тему подноса и его содержимого – она сделала это, только когда стало ясно, что мне больше нечего сказать.

Я вернулась к дивану и села. По ее словам, она принесла немножко остатков со стола, но, как только она поставила поднос мне на колени, я увидела, что на нем уместился весь рождественский обед в миниатюре, разложенный по тарелкам для закусок, рядом с льняной салфеткой в серебряном кольце и хрустальным стаканом с газированным виноградным соком. Мои глаза наполнились слезами. Уинсом тут же сказала, что я не обязана есть, если не хочу. Вид еды был для меня невыносим еще с лета, но я не поэтому пялилась на эти блюда во все глаза. Дело было в заботливой тетиной сервировке, в красоте этого натюрморта и, как я думаю сейчас, чувстве безопасности, которое мой мозг генерировал от вида детских порций.

Тетя сказала: хорошо – она, наверное, зайдет еще разок попозже, – и собралась уходить.

Когда она подошла к двери, я услышала, как говорю:

– Останься.

Уинсом не была мне матерью, но она была по-матерински заботлива – уж точно не как моя мать, – и я не хотела, чтобы она уходила. Она спросила, нужно ли мне еще что-нибудь.

Я медленно сказала «нет», пытаюсь придумать другую причину, по которой ей нельзя уходить.

– Мне просто стало интересно... До того как ты вошла, я думала о том, как ты поступила в колледж. Мне стало интересно, кто тебе помогал.

Она сказала:

– Мне никто не помогал! – и мягко отступила обратно в комнату после того, как я взяла крошечную вилку, проткнула небольшую картофелину и спросила ее, как же тогда она этого добилась. Присев на краешек, который я попыталась для нее разглядеть, Уинсом начала свой рассказ, не отвлекаясь на тот факт, что я ела картофель именно тем способом, который она запрещала своим детям: с зубцов вилки, точно это было мороженое.

Она сказала, что сама научилась играть на пианино в школьном актовом зале. Кто-то подписал названия нот на клавишах карандашом, и к тому времени, когда ей исполнилось двенадцать, она изучила все нотные тетради из библиотеки и стала отправлять запросы на новую музыку. Название «Королевский музыкальный колледж» и его адрес на Принс-Консорт-роуд, Лондон, Юго-Западный Лондон, всегда были напечатаны на обратной стороне приходивших конвертов, и со временем она отчаянно захотела увидеть место, откуда приезжала ее музыка. В пятнадцать лет она поехала в Лондон одна, намереваясь просто постоять перед зданием до

своего обратного поезда. Но вид входящих и выходящих студентов, одетых в черное, с чехлами для инструментов, вызвал у нее такую сильную зависть, что она почувствовала себя плохо, и каким-то образом она заставила себя зайти внутрь и спросить у человека за стойкой регистрации, можно ли подать заявку на поступление. Ей выдали анкету, которую она заполнила дома тем же вечером сперва карандашом, потом ручкой, а две недели спустя она получила приглашение на прослушивание.

Я прервала ее и спросила, как ей удалось доказать свой уровень игры, если она не сдавала никаких экзаменов.

Тетя закрыла глаза, подняла подбородок, глубоко вздохнула и, когда ее глаза широко распахнулись, сказала: «Я наврала». И восхитительно выдохнула.

В тот день она сыграла безупречно. Но потом экзаменаторы попросили ее предъявить сертификаты, и она призналась. «Я ждала, что меня арестуют, но, – сказала Уинсом, – мне дали место сразу же, как только поняли, что я никогда не брала уроков».

Она соединила руки и сложила их на коленях.

Я отложила вилку.

– Если я выйду, ты могла бы сыграть что-нибудь?

Она сказала, что уже слишком заостенела для этого, но тут же вскочила на ноги и быстро убрала поднос с моих колен.

Я встала и спросила, нужны ли ей ноты со стола. Тетя засмеялась и выпроводила меня из комнаты.

* * *

С места, куда она велела мне сесть, я наблюдала, как она открывает крышку рояля, регулирует табурет, затем поднимает руки – мягкие запястья поднимаются раньше пальцев, и те задерживаются на несколько секунд, перед тем как упасть на клавиши. С первого же сокрушительного такта, который она взяла, все остальные устремились в гостиную один за другим, даже мальчики, даже моя мать.

Никто не произносил ни слова. Музыка была необыкновенной. Ощущение было физическим, как будто теплая вода омывала рану, агонизируя, очищая и исцеляя. Ингрид вошла и втиснулась ко мне в кресло, когда Уинсом начала один отрывок, который становился все быстрее и быстрее, пока не стало казаться, что музыку играет уже не она. Сестра сказала: «Охренеть!». Серия резких аккордов, за которыми последовало внезапное замедление, казалось, означала финал, но, вместо того чтобы остановиться, моя тетя вплавляла последние ноты в начало песни «О святая ночь».

Мое восприятие Уинсом шло от матери – я считала ее старой, церемонной, лишенной внутренней жизни или достойных страстей. Я впервые увидела ее своими собственными глазами. Уинсом была взрослым человеком: заботливым, любившим порядок и красоту и стремившимся подарить их другим людям. Она подняла глаза к потолку и улыбнулась. На ней все еще был мокрый фартук.

Первым, кто произнес что-то вслух, был Роулэнд, который вошел последним и встал у камина, опершись локтем о каминную полку, словно позировал для портрета маслом в полный рост. Он потребовал чего-нибудь, черт возьми, повеселее, и Уинсом проворно перешла на «Радуйся, мир».

И тут вклинилась моя мать, запев другую песню, которую тетя не смогла подхватить, потому что мать сочиняла ее на ходу. Ее голос становился все выше и выше, пока Уинсом не сымпровизировала концовку и не убрала руки с фортепиано, сказав, что, вероятно, подошло время речи королевы. Но мать считала, что нам всем и так весело. «И, – продолжила она, – должна вам сказать, что подростком моя сестра была так уверена, что станет знаменитой, что

играла, повернув голову набок... не так ли, Уинни? Ты готовилась к тому, что тебе придется играть и поглядывать в огромный зал со зрителями». Уинсом попыталась рассмеяться, прежде чем Роуленд сказал «так» и приказал всем, кто родился после коронации, свалить, что было излишне, поскольку Ингрид, мои кузены и Патрик начали эвакуацию еще во время выступления моей матери. Я встала и подошла к двери. Я хотела извиниться перед Уинсом, но, проходя мимо нее, я уставилась в пол и вернулась в комнату на первом этаже. Я больше не выходила, пока не пришло время уезжать. На заднем сиденье машины Ингрид сказала, что распаковала мои подарки за меня. Она сказала: «Много дерьма для твоей кучи „Не нравится“».

Мне не стало лучше. Мне просто дали выходной на Рождество. В следующий раз, когда я приехала в Белгравию, рояль был закрыт и накрыт чехлом.

* * *

Я вернулась в университет в январе и сдала экзамены. «Основы философии – 1» нужно было написать дома. Я делала это на полу в кабинете отца, подложив под листы Краткий оксфордский словарь.

Работа вернулась ко мне с комментарием. «Вы прекрасно пишете и очень мало говорите». Отец прочитал мое эссе и сказал: «Да. Думаю, ты смогла прожевать даже больше, чем откусила».

Здесь лежит Марта Джульет Рассел
25 ноября 1977 года – будет уточнено позднее
Она прожевала больше, чем откусила

* * *

Я не почувствовала себя прежней Мартой от таблеток, которые подействовали через месяц после того, как я начала их принимать. Я больше не была в депрессии. Я все время была в эйфории. Меня ничего не пугало. Все было забавно. Я начала второй семестр и заставила всех однокурсников со мной подружиться. Одна девушка сказала: «Странно, ты такая веселая. Мы все думали, что ты стерва». А какой-то парень рядом с ней добавил: «Они думали, что... мы просто думали, что ты холодная». «Короче, – сказала девушка, – ты ни с кем не разговаривала, типа, с самого начала семестра». Ингрид сказала, что я была менее странной, когда сидела под столом.

* * *

Я потеряла девственность с аспирантом, которому меня поручили после окончания испытательного срока, как сказал декан: «Чтобы обнаружить все пробелы и заполнить их». Я покинула его квартиру, как только все закончилось. Был день, но стояла зима и уже стемнело. На улице были только мамы с колясками. Они словно сходились со всех сторон на какой-то парад. В свете уличных фонарей лица их детей выглядели бледными, луноподобными и отливали оранжевым. Они плакали и безуспешно вырывались из ремешков, что их удерживали. Я зашла в аптеку, и неприветливый фармацевт сказал, что на средства экстренной контрацепции нужен рецепт и он не может продать их просто так, как таблетки от головной боли. Дальше по дороге есть клиника, в которой принимают пациентов без записи: на моем месте он пошел бы сразу туда.

Я прождала несколько часов, чтобы докторша, которая, казалось, была ненамного старше меня, осмотрела меня и подтвердила, что я действительно нахожусь в пределах окна фертильности, добавив: «Так сказать», и хихикнула.

В тот вечер я не приняла свои таблетки. Я не приняла их ни на следующий день, ни потом, я перестала принимать их вообще. Врач, которая мне их прописала, не уточняла, какой вред они могут причинить, она не говорила, как долго они «задержатся в системе». Но все, о чем я могла думать, это как она прошептала слово «эмбрион».

Так что я делала тест на беременность каждый день, пока не пришли месячные, убежденная, несмотря на меры предосторожности, которые я предприняла в процессе и после него, несмотря на все отрицательные тесты, что я вынашиваю извивающегося луноликого ребенка. Утром, когда начались месячные, я села на край ванны и почувствовала облегчение. Без лекарств я больше не была в эйфории. В депрессии я тоже не была: ни прежняя, ни новая. Я просто была.

* * *

Я рассказала Ингрид, что переспала с аспирантом, и не рассказала, что происходило со мной после этого, – чтобы она не смеялась и не решила, что у меня паранойя. Она сказала «вау». «Считай, что все твои пробелы обнаружены и заполнены». Когда она спросила, каково это в первый раз, я ответила так, чтобы это показалось чем-то великолепным, потому что, по ее словам, она активно искала, чем бы заполнить собственные пробелы.

* * *

После поздно оконченной учебы я устроилась на работу в журнала «Вог», потому что они запускали веб-сайт, а в своем резюме я указала, что не только дипломированный философ, но еще и на «ты» с интернетом. Ингрид сказала, что я получила работу, потому что высокая.

За день до выхода я пошла в магазин «Уотерстоунз» на Кенсингтон-Хай-стрит, нашла книгу по HTML и стала читать ее прямо между стеллажей книжного, потому что обложка была такого агрессивного оттенка желтого, что мысль об обладании ею была невыносима. Она была ужасно сложная, я разозлилась и ушла.

Мы – я и еще одна девушка, которая делала веб-сайт, – сидели далеко от ребят из журнала, но неестественно близко друг к другу в отсеке, сделанном из стеллажей. Как выяснилось, мы обе очень не хотели беспокоить друг друга, поэтому я придумала, как совершенно бесшумно съесть яблоко – разрезать его на шестнадцать ломтиков и держать каждый кусок во рту, пока он не растворится, как вафля, а она всякий раз, когда звонил ее телефон, бросалась к трубке, поднимала ее на дюйм и опускала обратно, чтобы та перестала звонить. Нам звонить не могли, потому что никто не знал, где мы сидим. Мы стали называть наш отсек загоном для телят.

За первые шесть месяцев работы я потеряла почти двенадцать килограммов. Ингрид говорила, что я выгляжу просто потрясающе, и нельзя ли найти местечко в «Вог» и для нее. Это произошло не намеренно – мне сказали, что так случалось со всеми, словно подсознательно мы готовились к тому дню, когда придем и обнаружим, что все двери изменились таким образом, что только девушки с одобренными параметрами смогут пройти сквозь них. Как корзины для багажа в аэропортах: сюда должна уместиться ручная кладь.

Мне там очень нравилось. Я работала там до тех пор, пока не стало ясно, что я вовсе не на «ты» с интернетом, и меня перевели вниз, в журнал, посвященный дизайну интерьеров, где я изящно писала про стулья и очень мало говорила. Ингрид утверждает, что с тех пор, благодаря тяжелому труду и упорству, я неуклонно двигалась вниз по карьерной лестнице.

После школьных экзаменов Ингрид закончила первый курс по специальности «маркетинг» в каком-то региональном университете, что, по ее словам, сделало ее глупее, чем она была вначале, а затем вернулась в Лондон и стала агентом по подбору моделей. Она уволилась, как только забеременела, и больше не вернулась на работу, потому что, по ее словам, она не заинтересована платить деньги няне ради того, чтобы проводить по девять часов в день, рассматривая шестнадцатилетних восточноевропейских подростков с отрицательным индексом массы тела.

* * *

Однажды в отпуске я начала читать «Деньги»; первые тридцать страниц, пока не вспомнила, что не понимаю Мартина Эмиса. Главный герой книги – заядлый курильщик. Он говорит: «Я и закурил очередную сигарету. За исключением особо оговоренных случаев, я всегда курю очередную сигарету»⁴.

За исключением отдельно оговоренных случаев, на протяжении третьего и большей части четвертого десятилетия моей жизни у меня была депрессия легкой, умеренной, тяжелой степени в течение недели, двух недель, полугода, целого года.

В свой двадцать первый день рождения я завела дневник. Я думала, что пишу в основном о своей жизни. Он все еще у меня: он похож на дневник, который тебе велит вести психиатр, чтобы записывать, когда ты находишься в депрессии, выходишь из депрессии или ожидаешь обострения депрессии. То есть всегда. Это единственное, о чем я когда-либо писала. Но промежутки между ними были достаточно длинными, поэтому я думала о каждом эпизоде как о чем-то отдельном, со своей конкретной неочевидной причиной, даже если в большинстве случаев мне было трудно ее выяснить.

После каждого эпизода я считала, что больше это не повторится. А когда повторялось, я шла к другому врачу и собирала диагнозы, как коллекционер. Таблетки превращались в комбинации таблеток, разработанные специалистами. Они говорили о настройке и корректировке; была очень популярна фраза «метод проб и ошибок». Наблюдая, как я измельчаю кучу таблеток и капсул в миске, Ингрид, которая была со мной на кухне и готовила завтрак, сказала: «Выглядит очень сытно» – и спросила, не хочу ли я залить их молоком.

Эти смеси меня пугали. Я ненавидела коробочки в шкафчике в ванной, смятые, наполовину использованные блистеры и обрывки фольги в раковине, ощущение, что капсулы не растворяются в горле. Но я пила все, что мне давали. И прекращала, если от них чувствовала себя хуже или потому, что чувствовала себя лучше. В основном я чувствовала себя неизменно.

Вот почему в конце концов я перестала принимать любые лекарства и посещать так много врачей, а потом – вообще всех врачей очень надолго, и почему окружающие: мои родители, Ингрид и позже Патрик – согласились с моим собственным диагнозом, что я сложная и слишком чувствительная, и почему никто не задумался, не являются ли эти эпизоды отдельными бусинками на одной длинной нити.

В первый раз я вышла замуж за человека по имени Джонатан Стронг. Он был арт-дилером со специализацией в пасторальном искусстве и покупал его для олигархов. Мне исполнилось двадцать пять, я все еще была в весе времен «Вог», когда встретила его на летней вечеринке, которую устроил издатель «Мира интерьеров». Его первое имя было Перегрин, ему было около шестидесяти, он был седовлас и в плане гардероба равнодушен к бархату. В офисе поговаривали, что на всех компьютерах в «Татлер» его фамилии присвоено сочетание горячих клавиш – так часто она появлялась на страницах светской хроники. Как только он узнал, что моя мать

⁴ Пер. А. Б. Гузмана

– скульптор Силия Барри, он пригласил меня на обед, потому что, хоть работы моей матери его не трогали, за исключением тех случаев, когда они его активно отталкивали, его интересовали художники и искусство, красота и безумие, и он решил, что я буду интересна во всех четырех аспектах.

Я продемонстрировала все, что во мне было, еще до того, как Перегрин закончил есть устрицы, но он предложил мне снова пообедать на следующей неделе, и с тех пор – каждую неделю, потому что, как он утверждал, его пленило мое детство и истории, которые я рассказывала: вечеринки, художественные и домашние труды отца, незаконченный опус, «Рассвет в Умбрии» и торт «Мильфей» из фольги. В самый большой трепет его приводили мои проблемы с безумием. Он говорил, что не доверяет людям, у которых не бывало нервных срывов – хотя бы одного, – и сожалеет, что его собственный случился тридцать лет назад, банально, после развода.

Я рассказала ему про отцовскую игру – рассказ из первых букв алфавита. Перегрин сразу же захотел попробовать свои силы. После этого у нас вошло в привычку писать их после того, как он делал заказ, на карточках из его нагрудного кармана.

В тот день, когда я создала – я не помню его целиком – рассказ, который начался со слов «Ажиотаж Безмерный Вызвал Грозный Дега», Перегрин сказал, что я вызываю у него отцовские чувства, словно я дочь, которой у него никогда не было, хотя у него было целых две дочери. Но, объяснил он, вместо того чтобы стать художницами, как он надеялся, они обе выучились в университете на бухгалтеров. «На горе отцу», – добавил он. Даже сейчас, годы спустя, ему было трудно принять выбранный ими образ жизни, который заключался в частой уборке квартир в дюплеках в некрасивых частях графства Суррей, покупках в супермаркетах, наличии мужей и так далее. Образ жизни Перегрин означал мьюз-хаус⁵ в Челси и сожителство с пожилым джентльменом по имени Джереми, который закупался продуктами только в универмаге «Фортнумс»⁶.

В конце его речи я попросила Перегрин прочесть то, что он написал. Он ответил:

– Не лучшее, что я сочинил, но если угодно: «А Бернар, Видимо, Гуляш Доел...» – но тут его прервали подоспевшие устрицы.

* * *

Старший сын Ингрид проходил через фазу составления выдуманных меню. Она прислала мне фотографии. В одном из них он написал:

1. Красное Винно 20
2. Белае винно 20
3. Смесь из всех всех винн 10

Ингрид написала, что заказала большой номер «три», потому что в этом заключаются основы экономного домоводства.

* * *

Именно Перегрин заметил Джонатана на той летней вечеринке и, как он признался год спустя, прося у меня прощения, «невольнo поставил хореографию вашего разрушительного па-де-де».

⁵ Жилье дома в переделанных конюшнях XIX века.

⁶ Универмаг премиум-класса в Лондоне, исторически специализируется на еде.

Джонатан стоял посреди комнаты и разговаривал с тремя блондинками, одетыми в разные вариации одного и того же наряда. Перегрин сказал, что они в беде: рискуют быть соблазненными или купить уродливый пейзаж – и извинился за то, что вынужден оставить меня одну, потому что должен отойти поздороваться кое с кем утомительным.

Я прошла мимо Джонатана к террасе и почувствовала, как он обернулся и проводил меня взглядом до двери. Когда я вернулась внутрь, туда, где раньше стояла с Перегрином, Джонатан отошел от своей группы. Я приняла решение ненавидеть его, пока он двигался в мою сторону, прорезая толпу: потому что его волосы выглядели мокрыми, хотя мокрыми не были, и потому что, проходя мимо официанта, он подхватил с подноса два бокала с шампанским, ничего ему не сказав. Один бокал он сунул мне в руку, при этом рукав его смокинга задрался, явив миру наручные часы размером с настенные.

Оставив между нами расстояние в несколько дюймов, он слегка наклонил свой бокал, звякнул по моему и сказал: «Я Джонатан Стронг, но меня гораздо больше интересует, кто вы».

Я сдалась ему через минуту. В нем была экстравагантная энергия, которая одухотворяла его и вводила в транс любого, с кем он разговаривал, – он осознавал, насколько он красив. Когда я сказала, что у него сияющие глаза викторианского ребенка, который ночью умрет от скарлатины, он слишком громко рассмеялся.

Его ответный комплимент был таким банальным – вроде бы моему платью, в котором я походила на кинозвезду 1930-х годов, – я подумала, он шутит. Джонатан никогда не шутил, но я долгое время этого не осознавала.

Я тогда что-то принимала, и, соединившись с алкоголем, оно превратило меня в легкую добычу – я опьянела еще до того, как допила бокал шампанского, принесенный Джонатаном. Все время, пока мы разговаривали, расстояние между нами уменьшалось и в какой-то момент исчезло, он зашептал мне в лицо, и разрешить ему поцеловать себя показалось мне логичным продолжением нашего движения друг к другу. Потом позволить взять мой номер, а на следующий день – пригласить на ужин.

Он отвел меня в суши-ресторан в Челси, от которого какое-то короткое время был в полнейшем восторге, пока не решил, что еда, которая катается по ресторану на конвейере, – это невероятно инфантильно. Я вновь решила возненавидеть его сразу же, как мы сели, и переспала с ним той же ночью.

Вот в чем крылась причина огромного недоразумения, из-за которого мы поженились: он считал меня раскованной, веселой, худой девушкой, любительницей моды, участницей вечеринок фэшн-журналов, а я думала, что он не принимает громадные дозы кокаина.

* * *

В середине ужина Джонатан углубился в рассуждение о психических заболеваниях и людях, которые решают их иметь, и оно никак не было связано с тем, о чем мы говорили ранее.

По его опыту, люди, которые рвались всем рассказать про свое психологическое расстройство, либо скучны и отчаянно стараются казаться интересными, либо не в состоянии принять то, что они неудачники по какой-то обыкновенной причине, вероятно по собственной вине, а не из-за детства, о котором с таким же рвением пытаются поведать.

Я ничего не ответила, отвлекшись на то, как посреди своей тирады он подхватил с конвейера блюдо с сашими, снял с него крышку, откусил кусочек рыбы, поморщился, положил остаток обратно на блюдо, закрыл крышку и отправил его дальше в путь.

Потом Джонатан заявил, что сейчас все принимают какие-то лекарства, но какой в этом смысл – люди в целом выглядят еще несчастнее, чем прежде.

А я не могла оторвать глаз от блюда: оно продолжало двигаться по конвейеру, проходя мимо других посетителей. Словно издали я услышала, как он сказал: «Может, вместо того

чтобы жевать фармацевтические препараты, как конфетки, в смутной надежде на выздоровление, людям следует задуматься о том, чтобы стать, мать их, сильнее».

Я сделала глоток саке, от которого ранее отказалась, а он все равно налил, и следила из-за его плеча, как какой-то мужчина дальше по ходу движения конвейера снимает с ленты блюдо с недоеденной рыбой и передает его жене. Та берет палочки и тянется за надкушенной половинкой. Я была избавлена от ужаса наблюдать, как она ее ест, потому что Джонатан произнес мое имя, а затем: «Я же прав, да?».

Я засмеялась и сказала: «Ты такой забавный, Джонатан». Он усмехнулся и снова налил мне саке. Когда несколько недель спустя он повторил свой манифест о психическом здоровье, я уже была влюблена в него и все еще думала, что он шутит.

* * *

Когда я рассказала Перегрину, что начала встречаться с Джонатаном, он ответил, что лучше бы я соблазнилась на покупку уродливой картины, а не на секс.

Ингрид встретила Хэмиша в то же лето по пути на вечеринку в честь дня своего рождения, которую Уинсом устраивала для нее в Белгравии. Когда она упала на тротуаре, Хэмиш бросил свои контейнеры для мусора у ворот и выбежал посмотреть, в порядке ли она. Он помог ей встать и, поскольку у сестры кое-где была кровь, предложил подвезти ее туда, куда она направлялась, на машине и, по словам Ингрид, добавил: «Я не ужасный убийца». Она ответила, что если это значит, что он очень хороший убийца, то она не против, чтобы он ее подвез.

Подъехав к дому, Хэмиш согласился зайти и выпить чего-нибудь, потому что ему очень понравилось, как моя сестра ругала его большую часть пути. Я уже была там, и, после того как Ингрид представила нас, Хэмиш спросил меня, чем я занимаюсь. Он сказал, что, должно быть, это захватывающе – работать в журнале, а затем добавил, что у него самого работа в правительстве и на нее ужасно скучно ходить. Ингрид, впервые услышав об этом, заявила, что не будет с ним спорить по этому поводу. Еще до окончания праздника я поняла, что она выйдет за него замуж – несмотря на то что он провел рядом с ней весь вечер, он ни разу не усомнился ни в одной истории, что она рассказывала, а ведь истории моей сестры всегда были тройным сочетанием преувеличений, выдумок и фактических неточностей.

Они встречались три года, а потом он сделал ей предложение на пляже в Дорсете, безлюдном, потому что стоял январь и, как она описывала позже, ветер был настолько свиреп, что сек их песком, а Хэмиш делал предложение с закрытыми глазами.

* * *

Джонатан сделал мне предложение через несколько недель после знакомства, во время ужина, который он устроил ради этого. Он не общался со своей семьей, за исключением сводной сестры, зато пригласил мою: родителей, Ингрид, которая привела Хэмиша, Роуланда, Уинсом, Оливера, Джессамин и Патрика, который пришел вместо Николаса – уехавшего, как мне сказали, на особую ферму в Америку.

Джонатан не встречал их до того вечера и не знал меня достаточно долго, чтобы понять, что во время столь интимного момента, происходящего на публике, я буду чувствовать себя так же, как чувствовала в четырнадцать лет, когда на катке у меня начались первые месячные. Я хотела этого, но не в таких обстоятельствах. Позже я поняла, что Джонатану была необходима публика.

Его квартира находилась на верхнем этаже агрессивно концептуальной стеклянной башни в Саутуорке, которая на этапах планирования была предметом решительного сопро-

тивления общественности. Каждая деталь его интерьера была скрыта, утоплена, замаскирована или искусно спрятана за чем-то, помещенным туда специально, чтобы отвлечь внимание. Прежде чем я смогла понять, где что находится, я отодвигала множество панелей и находила то, чего не искала, то, чего мне не следовало видеть, или вообще ничего.

Я жила дома, когда встретила Джонатана, потому что зарплата специалиста по описанию стульев составляла минимально возможное пятизначное число, и продолжала жить там, когда Джонатан устроил ужин, потому что, хотя он почти сразу попросил меня переехать к нему, его квартира располагалась ужасно высоко, со всех сторон окруженная огромными герметичными окнами, и я чувствовала, что в ней не хватает воздуха. Я не могла пробыть в ней дольше нескольких часов, не спустившись в бесшумно падающем лифте на первый этаж и не постояв некоторое время на подъездной дорожке, вдыхая и выдыхая слишком быстро, чтобы делать это осознанно. Итак, в тот вечер я приехала с родителями и в тускло освещенном квартирном вестибюле представила их Джонатану. На нем был темно-синий костюм и расстегнутая сверху рубашка; он выглядел как престижный риелтор на контрасте с моим отцом в коричневых брюках и коричневом джемпере, который, в свою очередь, был похож на водителя библиотеки на колесах.

Они в равной степени осознавали этот контраст, но Джонатан шагнул вперед, схватил отца за руку и воскликнул: «Поэт!» – тоном, который спас их обоих и совершенно вскружил мне голову. Затем он повернулся к моей матери, налетел на нее и сказал: «Дорогая, в качестве кого вы пришли?». Она пришла в качестве скульптора. Джонатан сказал, что ему потребуется минутка, чтобы рассмотреть ее наряд, и хотя он насмеялся над ней, мать позволила ему себя покрутить.

Остальные прибыли, пока мы стояли в вестибюле, и Джонатан повторял их имена следом за мной, словно учил ключевые слова иностранного языка, задерживая их руки в рукопожатии, казалось, на секунду дольше, чем следовало.

Последним я представила Патрика, и Джонатан сказал: «Точно-точно, школьный друг», – а затем повел всех в просторную развлекательную зону в глубине квартиры, оставив нас наедине.

Патрик хорошо выглядел – я хорошо выглядела. Нам не удалось найти никакой темы для разговора, прежде чем Джонатан вернулся и сказал: «Вы двое, Патрик, пойдем, пойдем».

* * *

Хотя моя сестра не сказала ни слова по этому поводу, во время их единственного разговора в тот вечер Джонатан объяснил ей, что все полагают, будто он от природы невероятно хорошо запоминает имена, но на самом деле всякий раз, когда он впервые встречает человека и держит его ладонь в рукопожатии, он придумывает какую-нибудь хитрую мнемоническую напоминалку, связывающую особенности внешности этого человека с его именем. Вот почему долгое время Ингрид звала его Джонатан-Херова-Бесячая-Рожа.

Ингрид ненавидела Джонатана – авансом до личной встречи и инстинктивно – после. Она была единственной, на кого не действовали его чары, и позже она призналась, что видеть, как мы влюбляемся, было все равно что наблюдать за двумя автомобилями, несущимися друг другу навстречу вдоль разделительной полосы, не в силах вмешаться – лишь ждать момента столкновения; тем вечером она начала писать на обратной стороне квитанции список под названием «Джонатан – это оружие массового поражения, потому что».

* * *

Я не знала, что за ужином Джонатан попросит меня выйти за него и что этот поступок станет кульминацией слайд-шоу из фотографий, сделанных за время наших отношений на тот момент. На большинстве из них мы были по отдельности: его потрясающей камерой я снимала его, а он – меня.

Слайд-шоу было выведено на экран, который спускался из невидимой ниши в потолке, и пока он бесшумно поднимался обратно, Джонатан жестом пригласил меня подойти и встать рядом с ним.

Пока я вставала, словно в замедленной съемке, я посмотрела на слабую улыбку отца, чье желание помочь мне всегда превышало его возможности, на Ингрид, которая все еще сидела на коленях у Хэмиша, обвивая руками его шею. Взглянула на дядю, тетю и кузенов, беседующих на другом конце стола, скользнула взглядом мимо Патрика, который сидел рядом с ними, но, казалось, был сам по себе, увидела, что моя мать, которая плеснула шампанское в свой бокал и вокруг него, со слишком сильным обожанием смотрит на Джонатана – тот уже стоял, раскинув руки, словно готовился принять какой-то крупный предмет. Я хотела стать другой. Я хотела принадлежать другому. Я хотела, чтобы все было иначе. Прежде чем он и правда успел сделать предложение, чтобы он не опускался на одно колено перед моей семьей, я сказала «да».

На секунду наступила напряженная тишина, прежде чем мой отец начал хлопать в ладоши, как неопытный любитель классической музыки, который не уверен, что нужно аплодировать между актами. Остальные начали присоединяться, все, за исключением Ингрид, которая просто смотрела то на меня, то на Джонатана, пока моя мать рядом с ней не закричала: «Опа-опа, Марта беременна» – поверх растущих аплодисментов. Ингрид резко повернулась к ней и сказала: «Что? Нет, это не так», – а затем мне: «Это же не так, да?».

Я сказала «нет», Ингрид потянулась к бутылке, которую пыталась открыть мать, и выхватила ее. Она заставила Хэмиша взять бутылку, когда вставала с его колен, подошла к тому месту, где стояли мы с Джонатаном, и каким-то образом заставила его отодвинуться, чтобы обнять меня, при этом проигнорировав его.

Глядя на нас, все сидящие могли бы подумать, что это объятия-поздравления двух сестер, а не попытка одной успокоить другую тихим шепотом: «Не расстраивайся, она пьяная, она идиотка», – и не попытка другой устоять на месте и не выбежать из комнаты от глубочайшего унижения. Но его источником была не мать. В тот момент я не могла сказать Ингрид, что дело было в Джонатане, который отреагировал на заявление моей матери с притворным ужасом, а затем повернулся к моему отцу и сквозь стиснутые зубы сказал: «Еще чего не хватало!» Когда мой отец не засмеялся, Джонатан повторил свои слова Роуленду: тот расхохотался, и оттуда смех распространился по столу.

Это длилось совсем недолго, но я не знала, куда смотреть, пока смех усиливался, поэтому продолжала глядеть на Джонатана, который тоже смеялся, хотя у него на лбу уже выступил пот.

Он не хотел детей. Он сказал мне это в суши-ресторане. Я ответила, что тоже их не хочу, и он поднял свой стакан со словами: «Вау, идеальная женщина». Это было решено с самого начала, не было необходимости к этому возвращаться. И я была рада, но не счастлива. Мысль о беременности не была смешной, но люди смеялись. Я не хотела быть матерью, но предположение, что я могу ею стать, или сам образ меня как матери казались им забавными.

За исключением Патрика, он печально сидел на своем месте. Пока гремел смех, я встретила с ним взглядом, и он улыбнулся с сочувствием – не знаю, к чему именно, – и мое разочарование стало всеобъемлющим. Меня пожалел школьный друг.

Перед тем как мы с Ингрид разомкнули объятия, я поблагодарила ее: «Я люблю тебя» – и подняла лицо, на котором для всех, кто мог на меня смотреть, уже сияла улыбка.

Все встали из-за стола. Мы с Джонатаном снова оказались рядом, окруженные поздравлениями со всех сторон. Он сказал: «Спасибо, ребята. Скажу начистоту, не думаю, что когда-либо в жизни был счастливее. Да вы только посмотрите на нее, господи». Он взял меня за руку и поцеловал ее.

Я зашла в ванную, как только смогла, и была в шоке, увидев в зеркале такую незнакомую себя. С огромными глазами и улыбкой, с которой я, казалось, умерла, и она осталась увековечена в трупном окаменении. Положив ладони на щеки, я открывала и закрывала рот, пока она не исчезла. К тому времени как я вышла, Ингрид уже ушла домой.

Поздно вечером я поймала такси и вернулась на Голдхок-роуд. Джонатан извинился за то, что вынужден лечь спать, вместо того чтобы помогать мне убраться. Он не ожидал, что грандиозный романтический жест окажется таким утомительным.

Когда я ехала по мосту Воксхолл, мне позвонила Ингрид и попросила выслушать, почему, как она считает, мне нельзя выходить за него замуж.

– И это даже не все причины, но он никогда не говорит «да». Всегда «на все сто процентов». В списке его главных предпочтений – кофе и музыка. Всегда заявляет «скажу начистоту», прежде чем сообщить факт о себе – обычно что-нибудь скучное, типа «я люблю кофе». Большинство фотографий на слайд-шоу были с ним одним. И он *публично* попросил тебя – из всех людей, именно тебя – выйти за него замуж.

Я сказала ей остановиться.

– Он не знает тебя.

Я сказала ей прекратить, пожалуйста.

– Да ты его не любишь – в глубине души. Ты просто немного запуталась.

Я сказала:

– Ингрид, заткнись. Я знаю, что делаю, и в любом случае Оливер тебя опередил. И твои доводы мне тоже не нужны.

– А эта тема с детьми? Он же сказал: «Ха-ха-ха, еще чего не хватало».

Я ответила, что он пошутил.

– Ну он такой. В глубине души он невероятно любящий. Ты же слышала, что он сказал потом: «Господи, только посмотрите на нее»?

Ингрид сказала, это невероятно – мне оказалось достаточно одной очаровательной вещи, сказанной или сделанной Джонатаном, чтобы простить его.

– Я знаю.

Я повесила трубку, решив верить, что под «невероятно» она имела в виду «потрясающе».

И каждый раз, когда мне приходилось что-то ему прощать в следующие недели, я любила его еще больше, а не меньше, – это тоже было невероятным для нее, а потом и для меня самой.

* * *

«Если моя дочка считает, что он достаточно хорош, то и я тоже», – вот все, что сказал отец, когда утром после того ужина я спросила, нравится ли ему Джонатан. Мать сообщила, что он совершенно не того типа мужчина, которого в ее представлении я бы выбрала, и поэтому она от него в восторге. Я сказала, что ни за что бы не догадалась, особенно по тому, как она обвила руками шею Джонатана и попыталась устроить какой-то танец в фойе, когда мы все стояли кружком, прощаясь, или как она истерически засмеялась, когда он наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку, и, как-то неправильно наклонив головы, они клюнули друг друга уголками губ.

Я переехала к нему в следующие выходные.

* * *

Дети Ингрид похожи на нее, а значит, похожи и на меня. Люди на улице – пожилые дамы, которые останавливают меня и говорят, мол, у меня в каждой руке по ребенку или, наоборот, что кое-кто слишком большой для детской коляски, – не верят, когда я говорю, что я им не мать, поэтому я иду дальше и позволяю им так думать.

* * *

К спальне Джонатана примыкали две ваннные комнаты: он вошел в мою в воскресенье утром, когда я выдавливала в ладонь таблетку из блистера, со словами, что ему скучно и что он начал скучать по мне, как только я встала.

До этого мы лежали в постели: Джонатан пил крошечный эспрессо, порожденный дорогой кофемашиной, которую он купил себе накануне в качестве подарка на помолвку, в то время как я изучала помолвочное кольцо, которое он выбрал по дороге домой и только что подарил мне, с легкостью надев на палец, потому что оно было велико.

Теперь, в ванной, он взял с раковины какую-то из моих вещей, затем, заметив таблетку у меня в руке, спросил, что это. Я сказала – противозачаточные, и попросила его выйти, пожалуйста. Джонатан притворился обиженным, но ушел. Я проглотила таблетку и положила пачку обратно в потайной карман косметички.

Я вышла и увидела, что он вернулся в постель; он возлежал на европодушках и, кажется, был на пороге некоего озарения. Он похлопал по кровати рядом с собой. Прежде чем я уселась, он схватил меня за руку и затащил в кровать.

– А знаешь что, Марта? К черту противозачаточные. Давай сделаем ребенка.

– Я же говорила, я не хочу ребенка.

– Не просто ребенка, а нашего ребенка. Можешь представить? Моя внешность, твои мозги. Зачем ждать?

– Я не жду. Я не хочу детей никогда. И ты тоже.

– И все же я только что предложил.

– Ты сказал мне, – я назвала его по имени, потому что он не слушал, – ты сказал мне во вторую нашу встречу, что не хочешь детей.

Он рассмеялся.

– Я играл на опережение, Марта, на случай, если ты окажешься одной из тех женщин, которым отчаянно надо... – Джонатан оборвал свою фразу. – Представь себе девочку. Меня с дочкой, с целой кучей дочек. Это будет феноменально.

Начиная с того момента Джонатан был поглощен этой идеей: точно так же, как если бы один из его университетских друзей позвонил и сказал, что им следует срочно поехать в Японию кататься на лыжах или купить складчину лодку. Он откинул одеяло и спрыгнул с кровати: он был настолько убежден, что сможет заставить меня передумать, что готов заделать мне ребенка прямо сейчас, прежде чем отправиться в спортзал, так что к тому времени, когда я передумаю, ребенок уже будет на подходе.

Я засмеялась. Он сказал, что он чертовски серьезен, и подошел к шкафам, те выглядели как полоса зеркальной стены.

Ему помешали мои чемоданы, открытые и пустые, но окруженные одеждой, которую я вынула в день приезда и все еще не разобрала. Он попросил меня разобраться с ними, пока его не будет, потому что комната начала походить на эконом-универмаг во время распродажи.

– А ты что, бывал в таких, Джонатан?

– Мне рассказывали.

Он открыл дверцы и, одеваясь, сказал:

– Несмотря на риск, что моя дочь тоже может стать неряхой, ты была бы восхитительной матерью, восхитительной. – Подбежал к кровати, поцеловал меня и добавил: – Охренительно восхитительной!

Как только он ушел, я вернулась в ванную и принялась наполнять ванну.

В тот вечер, когда мы с Джонатаном обручились, я узнала, стоя у мусорных баков, что Патрик влюблен в меня с 1994 года.

Я спустилась в надежде, что Ингрид все еще может быть на улице. Там никого не было. Я перешла дорогу и встала под навесом, не готовая вернуться наверх. Шел дождь, вода срывалась со скатов и с грохотом лилась на тротуар. Я простояла там несколько минут, когда из вестибюля появились Оливер и Патрик. Увидев меня, они подбежали и втиснулись ко мне с обеих сторон. Оливер полез в карман куртки, вынул сигарету, прикурил ее, спрятав огонек в ладони, и спросил, что я делаю.

Я ответила – неосознанно дышу. Он сказал: «А, ну раз так» – и поднес сигарету к моему рту. Я вдохнула и удерживала дым сколько могла. Патрик поздравил меня поверх шума дождя.

Оливер искоса посмотрел на меня. «Да, черт возьми, это было быстро».

Я выпустила дым и ответила: «Ну да». Из-за угла выскочило такси и, разбрызгивая воду из луж, двинулось к нам. Патрик сказал, что на самом деле он спустился, чтобы уехать, и ему пора бежать. Он поднял воротник и побежал.

Оливер забрал сигарету, и я положила голову ему на плечо, измученная от самой мысли, что придется вернуться внутрь и разговаривать с людьми.

Он позволил мне постоять так, а через мгновение сказал:

– Значит, ты уверена насчет свадьбы с Джонатаном. Он вроде не особо...

Я подняла голову и нахмурилась:

– Не особо что?

– Не особо в твоём вкусе.

Я сказала, что, поскольку он знает Джонатана два с половиной часа, меня не сильно интересует его мнение. Он протянул мне сигарету, и я взяла ее, раздраженная его словами и еще больше тем, как враждебно прозвучал мой ответ.

Патрик не остановил такси и ждал следующего на другой стороне улицы под дождем. Я курила и смотрел перед собой, зная, что Оливер наблюдает за мной. Через минуту он сказал:

– Значит, ты явно не беременна. Тогда зачем такая спешка?

Я хотела сказать, что у меня нет никаких противоречащих этому планов, но остановилась, потому что в горле стала подниматься кислота и я закашлялась.

После серии болезненных глотательных движений я сказала:

– Он любит меня.

Оливер забрал у меня последний дюйм сигареты и, зажав его в уголке рта, сказал:

– Но ведь это же не новость? Сколько лет прошло, десять?

Я спросила, о чем он говорит.

– Я про Джонатана.

– Вот дерьмо, извини. Я думал, ты про Патрика. Мне казалось, ты знаешь. А сейчас понимаю, что нет.

Я повернулась и внимательно посмотрела на него.

– Патрик меня не любит, Оливер, это же смешно.

Он ответил медленно, слишком четко артикулируя слова, словно пытался объяснить очевидный факт ребенку:

– Еще как любит, Марта.

– Как ты можешь это знать?

– Как ты можешь этого не знать? Все остальные знают.

Я спросила его, кто в данном случае эти все.

– Мы все. Твоя семья. Моя семья. Это уже легенда у Рассел и Гилхоули.

– Да когда он тебе это сказал?

– Ему и не нужно было.

– Ага, понятно. Значит, он никогда этого не говорил. Вы просто придумали.

Он сказал: «Нет».

– Но это...

– Оливер, он мне как кузен. И мне двадцать пять. А Патрику сколько? Девятнадцать?

– Двадцать два. И он тебе никакой не кузен.

Я снова посмотрела на улицу. Патрик сдался и уходил от нас, склонив голову под дождем.

Я никогда сознательно не обращала внимания на его манеры или внешность, но все в нем – ширина плеч, форма спины, то, как он ходил: выпрямленные руки глубоко засунуты в карманы, а внутренняя сторона локтей обращена вперед, – в тот момент показалось мне таким знакомым, словно любой общеизвестный факт или человек в жизни.

В конце улицы Патрик оглянулся через плечо и коротко помахал. К тому времени было слишком темно, чтобы как следует разглядеть его лицо, но за долю секунды до того, как он двинулся дальше, повернул за угол и исчез, мне показалось, что он смотрит лишь на меня. И я поняла, что это правда: Патрик любит меня, а в следующее мгновение – что знаю это уже давно. И раньше, за столом, я видела на его лице не сочувствие, и поэтому мне было так невыносимо: от одного человека исходила любовь, пока все остальные надо мной смеялись.

Оливер ничего не ответил, только приподнял бровь, когда я заявила, что это не имеет значения, ведь я влюблена в Джонатана, затем я побежала под дождь и вернулась наверх.

Наша с Джонатаном свадьба обошлась в семьдесят тысяч фунтов стерлингов. За все платил он. Я позволила все организовать его сводной сестре, которая описывала себя как организатора мероприятий и разделяла с Джонатаном дар создавать неукротимый импульс. В электронных письмах без заглавных букв она рассказывала мне, что есть около миллиона ниточек, за которые она способна потянуть в «*Сохо хауз*» или в любом другом отеле в Западном Лондоне, что означает, что она сможет найти для нас свободную дату через месяц. Она рассказала, что знакома с ключевым сотрудником «*Маккуин*» и училась вместе с большинством девочек из «Клои», так что тут все зависит от моих предпочтений, а еще ей не придется записываться ни к кому из флористов из списка (см. во вложении) как какой-то плебейке, она сто процентов может просто зайти к ним и решить все за полчаса, даже если я захочу что-то не по сезону.

Я сказала, что положусь на ее выбор. В «*Сохо хауз*», одетая в «Клои» и держа в руках ландыши, прилетевшие неизвестно откуда, я сказала Джонатану, что я так счастлива, будто нахожусь под наркотой. А он ответил, что и сам в полном восторге и что он реально под наркотой.

* * *

Патрик принял приглашение на мою свадьбу. Перегрин, который вместе с Джереми в тот момент шел по Пути Святого Иакова, прислал свои глубочайшие сожаления и антикварный нож для устриц.

* * *

Мы провели медовый месяц на Ибике: он был коротким, но в собачьих годах пропорционален нашему браку. Джонатан сказал, что это преступление, что он до сих пор не свозил

меня в свое любимое место на земле, которое, как он обещал, не имело ничего общего со своей репутацией. Я сказала, что поеду, если мы остановимся где-нибудь подальше от всех.

Ожидая рейс в бизнес-зале, я сказала Джонатану, что передумала. Он сидел в глубоком кресле и читал воскресный выпуск «Файненшл таймс», положив ноги на низкий столик перед собой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.